

ДОЛГАЯ ДОРОГА



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Валерий
Юабов

18+

Валерий Юабов

Долгая дорога

«ЛитРес: Самиздат»

2010

Юабов В.

Долгая дорога / В. Юабов — «ЛитРес: Самиздат», 2010

В книге автор рассказывает о своих студенческих годах, нелёгкой иммиграции и становлении в новой стране. Администрация сайта ЛитРес не несет ответственности за представленную информацию. Могут иметься медицинские противопоказания, необходима консультация специалиста. Содержит нецензурную брань.

Содержание

От автора	5
Книга первая	6
Глава 1. Ташкентский студент	6
Глава 2. Признание в любви	13
Глава 3. Белое золото	19
Глава 4. «В позицию!»	23
Глава 5. Рабы и плантаторы	27
Глава 6. Министр с удачной фамилией	31
Глава 7. Дядя Абраша уходит навсегда	35
Глава 8. Мечты, мечты, мечты...	40
Глава 9. Пытаюсь стать спортсменом	46
Глава 10. Решение	57
Глава 11. «...для представления в ОВИР»	63
Глава 12. «Ты навсегда в ответе...»	69
Глава 13. Молитвенник	75
Глава 14. «Город, подобный раю»	83
Глава 15. «Я с ним не поеду»	88
Глава 16. Поезд тронулся...	93
Глава 17. «Господа, с приездом!»	98
Глава 18. Робинзон Крузо	106
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Валерий Юабов

Долгая дорога

Эта книга посвящается самым добрым людям, повстречавшимся на моём жизненном пути: матери Эстер, супруге Светлане, доктору Мухитдину Умарову, другу и наставнице Раисе Мирер.

От автора

Своим неперменным долгом и приятной обязанностью считаю выразить огромную благодарность моему дорогому другу и помощнику Раисе Исааковне Мирер, без которой этой книги, может быть, и не было бы.

Она не только побуждала меня работать, но вложила в наш общий труд свою душу и огромный опыт литературного редактора.

Книга первая «Новые американцы»

Глава 1. Ташкентский студент

По физике было два экзамена – письменный и устный. Первый я сдал легко и успешно, второго почему-то побаивался.

В длинном коридоре, напротив одной из аудиторий, где принимали экзамен, столпилась у окна наша будущая группа. Вернее, те, кто надеялся в нее попасть. Все мы поглядывали друг на друга с любопытством и некоторым опасением: как-никак мы были конкурентами. Впрочем, болтали мы очень оживленно, стараясь скрыть страх и лихорадку ожидания: вызывали по алфавиту, и некоторым, мне в том числе, предстояло томиться довольно долго. Тех, кто выходил из аудитории, мгновенно окружали. «Ну? Что вытянул? Ответил?» Одни выскакивали настолько взволнованные, все еще заполненные тем, что было на экзамене, что не могли сразу переключиться и отвечать на расспросы. Другие, наоборот, тут же начинали выкладывать все подробности. Были и плачущие – девчонки, конечно.

Из аудитории, чуть приоткрыв дверь, выскользнула невысокая черноволосая девочка. Прислонилась к косяку, откинула голову.

– Пятерка...

Все разом к ней кинулись. «Да ну?!»

Пятерок было совсем немного.

* * *

За столом – двое учителей. Один еще беседует с кучерявым парнишкой. Второй кивнул мне: подходи, мол, и выбирай билет. Я протянул руку, почему-то очень тяжелую, одеревеневшую, поднес к глазам билет – и сразу стало так легко... На все вопросы – и об электромагнитной индукции, и о волновых характеристиках света с необходимыми формулами – я мог ответить с ходу! Но так не полагалось. Экзаменатор указал мне на стол у окна: «Садитесь и готовьтесь». Я уселся, стал перечитывать билет и расслабился настолько, что услышал вопрос, который другой экзаменатор задал кучерявому парню. Судя по тону, уже не в первый раз... А вопрос был легчайший. «Ну же, отвечай!» – подумал я. Но парень молчал. Ничего себе – он не знал третьего закона Ньютона!

«Бедняга, – подумал я. – Не видать ему института».

И ошибся. Этот парень – его звали Лёня Школьник – был чуть ли не первым, кого я увидел, придя на занятия. Объяснялось все очень просто: на одном из факультетов института работала тетя этого Лёни.

Впрочем, по совести, я-то чем от него отличался? Если своими знаниями в области физики я мог гордиться (и то потому, что со мной занимался дядя Миша), то с математикой все обстояло гораздо хуже. Готовила меня к экзаменам математичка из папиной школы Елена Сергеевна Модик. Когда после месяца занятий с этой ученой дамой мои знания проверил другой математик, друг дяди Миши, он только за голову схватился. Но исправлять что-нибудь было уже поздно...

Словом, с письменной математики я вернулся, проклиная себя, математику, вообще всё на свете и укрылся от мира на топчане под урючиной. Ночью меня разбудил шум мотора. Это

прибыл на своем «Москвиче» дядя Миша. Он успел в тот же вечер съездить к математику, принимавшему экзамен, чтобы узнать о моих успехах.

– Рыжик, два с половиной! – раздался от ворот ехидно-радостный голос Юрки. И он захохотал – да нет, загоготал... Ох, как хотелось трахнуть его по башке!

Дядя Миша не смеялся. Он подошел к топчану, поднял указательный палец и сказал с сарказмом:

– Номи о Модик будэ!

В переводе на русский это означало: «Её звали Модик». Так родилась фраза, запомнившаяся на много лет и ставшая в нашей семье поговоркой, когда речь шла о ком-то очень недобросовестном.

– Ты правильно ответил на два из пяти вопросов и на половину третьего, – сообщил мне дядя сурово. Расхлебывать-то ситуацию предстояло ему. Теперь надо было снова просить за племянника. Убеждать коллегу, Юрия Михайловича, преподававшего в институте математический анализ, что два с половиной – это больше, чем двойка, а значит, число можно округлить до трех.

И Юрий Михайлович «округлил».

Но вот экзамены позади. Принят ли я? Дядя молчал, спрашивать не хотелось, и я с нетерпением ждал – когда же вывешат списки. Этот день наступил, наконец. Прибежав рано утром во двор института, я увидел толпу возле доски со списками. Ее облепили так, что я долго не мог протиснуться, а пробравшись, физического факультета не нашел. Списков было много, штук двадцать, я долго шарил по ним глазами, думая, что ошибся. Но тут раздался чей-то голос: «А исторический где же?» – «И филологического нет», – пробормотал еще кто-то.

Оказалось, что несколько списков вывешат после одиннадцати... Опять ждать! Я уселся неподалеку и глядел, не отрываясь, как кипят возле списков радости и печали: кто-то прыгал, поднимая к небу руки, двое парней в восторге колотили друг друга по плечам, другие быстро уходили прочь – на лица этих ребят смотреть было тяжело... Какая-то девчонка давно уже стояла возле доски и все водила и водила пальцем по списку... Кажется, это был список музыкального факультета. Её почему-то было особенно жалко.

Когда, наконец, принесли недостающие списки, я еле удержался от того, чтобы кинуться к ним бегом, как первоклассник какой-нибудь. Подошел, стиснув зубы, заглянул в конец столбика фамилий... Ну? «Юабов»... Есть!

Прямо от списка бросился я к телефону-автомату. И первый звонок был, конечно, к дяде Мише. К благодетелю. А дядя хоть и любил, чтобы его благодеяния ценили, на этот раз был, вероятно, искренне рад за меня.

– Рыжик, кака-а-я? – заорал он тоненьким голосом, вспомнив нашу с ним давнюю игру. И как в раннем детстве, я радостно завопил в ответ:

– Запа-рожица!

* * *

Дома, в Чирчике, меня встретили, как полководца-победителя. Эммка подпрыгивала и юлой крутилась вокруг меня. Отец стоял, самодовольно подбоченившись, будто был соучастником победы. «Зря вы волновались, я же знал, что все будет в порядке», – вот что было написано на его лице. Мама обнимала меня, целовала и смеялась. Смеялась так звонко, так счастливо. «Студент, – приговаривала она. – Студент...»

Уж кого действительно можно было назвать соучастником – так это ее, маму. Думаю, что никто не вкладывал в мою подготовку к экзаменам столько душевных сил, ни у кого не было такого деятельного стремления помочь.

Вспоминается мне жаркий и душный июль, последний месяц перед вступительными экзаменами. С раннего утра сижу в своей комнате и занимаюсь. Мама следит за тем, чтобы никто мне не мешал, ходит на цыпочках, разговаривает шёпотом. И прерывает мои занятия, лишь когда считает, что мне пора подкрепиться. Признаться, она делает это довольно часто. То яблоко занесет, то грушу, то апельсин. Все – на тарелочке, все – почищено, чтобы я не тратил лишнего времени...

– Ешь! Мозгам необходима энергия!

Вежливо, но твердо я заявляю, что сыт. Пожалуйста, пусть она больше ничего не приносит. Мама кивает: «хорошо»...

Я сижу за письменным столом, спиной к окнам. Из них в комнату вливаются потоки света. Они разгуливают по стенам, колеблясь, как волны морские, вольно струятся по столу, и стекло на нём сверкает, светятся страницы раскрытой книги, мои руки... Один из лучей, отделившись от других, пересекает комнату, в нем танцуют миллиарды пылинок... Залюбовавшись их таинственной жизнью, я слышу вдруг какие-то странные звуки, что-то вроде музыки... Может быть, она сопровождает этот танец пылинок в луче?

«Там-м, ляка-туляка-ту, там-м, там-м...»

В открытых дверях моей комнаты появляется мама. За нею приплясывает Эммка. В руках у мамы – пустая эмалированная лаганча. Мама перекидывает ее из стороны в сторону, крутит, поднимает, опускает, отбивая по дну мелодию, как настоящий дойрист. То кончиками пальцев, то обручальным кольцом. И напевает простую песенку без слов – «Ляка-ляка-тум-м!», и улыбается так лукаво, так весело... Сейчас мне кажется, что все потоки света льются на неё, на маму, они бьют в неё, как прожектора на сцене, она плавает в них...

– Ляка-ляка-тум-м! – и мама опускает лаганчу на стол. А хохочущая Эммка ставит рядом еще одну, полную, над которой колыхнется ароматный пар...

– Поешь... Мозгам необходима энергия! – с полным сознанием своей правоты заявляет мама.

Ну как можно на неё сердиться?

* * *

Уж не знаю, сколько раз проходил я мимо этого здания на пересечении двух улиц – Глинки и Педагогической. Но наверное, до этого дня ни разу не *увидел* его – в подлинном смысле слова. Не имея особого пристрастия к архитектуре, я просто его оглядывал, как и другие красивые или старинные здания в Ташкенте. Я был обыкновенным прохожим. И даже когда я подавал документы, когда прибегал сюда на экзамены, я никакого внимания не обращал на то, куда же я захожу. Не до того мне было. А сейчас...

Я подошел уже к самому зданию – и вдруг остановился. Я *увидел* его целиком! Увидел широкую мраморную лестницу, взбегающую к величественному portalу с четырьмя мраморными колоннами в античном стиле, увидел даже тени этих колонн на гранитно-мраморном фасаде, увидел красивые скульптуры на высоких гранитных цоколях по сторонам лестницы...

«Дворец! Дворец науки!» – подумал я с чувством, похожим на гордость. Еще бы – ведь это был теперь и мой дворец. И вестибюль был таким же дворцовым – мраморным, высоким, прохладным. Но не безлюдным и не тихим! В вестибюле, на лестнице, в коридорах, в аудиториях – повсюду кишмя кишели владельцы дворца. Вроде бы как в школе – и все же совсем не так. Была суета, было беспорядочное, как мне казалось, движение, был, конечно, гул голосов, но без шальной беготни, без малышового визга.

Аудитории с их ступенчатыми, поднимающимися вверх полами напоминали театральные залы. Внушительные преподавательские кафедры тоже несколько не похожи были на скром-

ные столики школьных учителей. Как и длинные деревянные скамьи с пюпитрами – на парты. Садись на такую скамью и сразу чувствуешь, что ты – студент.

Мне кажется, первые недели своего студенчества я так был наполнен ощущением новизны, что на занятиях мне никак не удавалось сосредоточиться!

В это ощущение входила, конечно, не только новизна обстановки. Группа, в которую я попал, занимала меня еще больше. Она тоже мало чем напоминала мой привычный класс.

Первой неожиданностью было то, что в одной группе со мной, кроме вчерашних школьников, оказалось несколько взрослых парней. Казах Нурлан Бадарбаев пришел в институт после службы в армии, ему было двадцать два. Тёжке моему Валере Круглову – столько же, Толе Тамбовцеву – аж двадцать четыре! Толик несколько лет подряд поступал в разные институты, и вот, наконец, повезло. Несколько других парней после школы подрабатывали, чтобы помочь родителям и кое-что скопить на студенческие годы.

Я был самым младшим не только в группе – во всем институте нашелся только один мой ровесник-первокурсник, да и то на другом факультете.

Впрочем, я недолго побаивался, что на меня будут смотреть свысока или просто игнорировать, как «маленького». Если и были шутки, то совершенно безобидные. И я очень скоро почувствовал еще одно: они не связаны с моей национальностью.

Наша группа называлась русской, но только потому, что преподавание велось на русском языке (были группы, в которых оно велось на узбекском). На самом же деле кого только в нашей русской группе не было: русские, украинцы, узбеки, татары, евреи. Был казах, был кореец. И так или примерно так – на всем факультете, во всем институте. Не думаю, что именно по этой причине – очевидно, были и другие, которые я и сейчас не могу объяснить, – но никаких «национальных проблем» у нас в институте не наблюдалось. И антисемитских настроений ни у ребят, ни у преподавателей я не замечал. Правда, дядя Миша считал, что в преподавательском составе такой душок имеется.

Группа у нас, как мне казалось, подобралась замечательная. «Шухарная», как мы тогда выражались. Иначе говоря, веселая, доброжелательная, увлеченная всем тем, что тогда считалось среди молодежи интересным, модным... Да, жаргонное словечко вмещает в себя иногда очень много!

Еще одним открытием было то, что ташкентские ребята довольно сильно отличаются от нас, съехавшихся в столицу из других городов и селений. Они и вели себя по-другому, смелее, увереннее. И в современной жизни разбирались много лучше, чем мы. Казалось, что новости доходят до Ташкента из Москвы и со всего мира не по радио, не по телевидению – это ведь и у нас было, а какими-то неведомыми путями гораздо раньше, чем к нам, провинциалам. И в гораздо большем количестве. Разумеется, я говорю прежде всего о тех новостях и проблемах, которые в то время интересовали молодежь.

В числе таких вот «просвещенных» лидеров группы был пузатый, великовозрастный Толик Тамбовцев. Уж он-то знал все – и о музыкальных новинках, и о последнем «крике моды». Свои потребности в этих необходимых ему вещах он удовлетворял очень простым способом: спекулировал дисками, джинсами – короче, всем, чем мог. Никто в группе его не осуждал, и некоторые пользовались его услугами.

Кое-кто выделялся начитанностью, широтой интересов. Саня Носов в разговоре нередко то какое-нибудь крылатое выражение употреблял, то стихи цитировал. Виталик Цой, как скоро выяснилось, сам писал стихи. В основном – сатирические. Леня Коган пел, играл на гитаре. Эти парни смело и резко говорили и о наших местных безобразиях, и о советской власти вообще.

Все мы дружно ненавидели историю КПСС – в основном потому, что скучнее предмета не было. Приходилось заучивать, когда происходили «исторические съезды» коммунистической партии (а историческими считались чуть ли не все они), что на них происходило, и много всякой другой чепухи. Однако же наш преподаватель истории КПСС Петр Тимофеевич просто

захлебывался от восторга, торжественно рассказывая нам обо всех этих съездах, о том, какая у нас великая, мудрая партия, как замечательно все мы живем под ее руководством... Стоило только послушать, как наши остряки издевались над Петром Тимофеевичем! Шли споры – кто он на самом деле: восторженный дурак или расчётливый подхалим... Я слушал такие разговоры с жадностью. Мы, чирчикские школьники, конечно, тоже кое-что понимали, но наша критика дальше анекдотов с политической окраской не шла. А мои новые товарищи рассуждали, спорили, у них были свои взгляды, свои убеждения, достаточно смелые.

Было в группе несколько отличных спортсменов – два Сергея, Павлов и Морозов, оба – боксеры, баскетболист Сергей Тельтевский и даже акробат Валера Круглов. Мы этим гордились и надеялись, что о них скоро узнает весь институт, а может быть, и весь Ташкент.

Если честно говорить, то рассказ о нашей группе мне бы следовало начать с девочек. Надо ли объяснять, почему? Ведь они просто притягивали взгляд юнца, переполненного и плотскими желаниями, и высокими мечтами о любви.

Девочки составляли большую половину группы – парней было одиннадцать, а их – тринадцать. Все они сперва показались мне очень красивыми. Только постепенно я понял, что юная привлекательность некоторых девчонок очень умело усилена модной одеждой и макияжем. Особенно выделялись модницы ташкентские – уж эти умели и одеться, и подкрасить глазки, и... Словом, подать себя. Тени, пудры, помада всех оттенков – и все, конечно, импортное. В этом нескрываемом соперничестве впереди всех была Ирка Бровман, весьма элегантная, хотя и немного полноватая девица из ташкентской еврейской семьи. Очевидно, зажиточной – другие девушки не могли себе позволить одеваться, как она. Эта Ирка и одеждой, и манерой вести себя напоминала мне нашу Ирку Умерову. Но таких результатов, как Умеровой, здешней Ирке достичь не удавалось: парням она не нравилась. А на меня откровенное кокетство вообще не очень действовало. Ильгиза Шайморданова, например, не так уж и модно была одета и совсем почти не красилась, и глазками она не стреляла, как другие девчонки, а, наоборот, отводила их в сторону, опускала густые ресницы – но именно эта застенчивость притягивала меня. У моей Ларисы появилась соперница...

Наша группа довольно быстро приобрела некоторую популярность. Все чаще и чаще стал присоединяться к нашей компании рослый, белокурый Паша Савельев, третьекурсник. До нас – говорил он – ему еще ни разу не приходилось видеть в «педике» таких веселых ребят! Общественным Паши все мы, конечно, слегка гордились. Но сдружился я и сблизился больше, чем с другими ребятами, с Ридваном, татарским парнем, приехавшим из далекого селения. Частенько после занятий все отправлялись в парк выпить пивка, а мы с Ридваном шли в общежитие, где он поселился, и там болтали часами. Нам всегда было интересно друг с другом.

Но «пивные пирушки» в парке – это я тоже очень любил. В них было для меня что-то совершенно новое, студенческое. Здесь еще больше, чем в институтских стенах, я чувствовал себя взрослым парнем в окружении взрослых парней.

* * *

В перерывах между лекциями то и дело можно было услышать слова, непонятные только самым зеленым новичкам: «Увидимся в Кирове». Это кто-то из преподавателей или студентов договаривался о встрече после занятий...

Я очень веселился, прочитав много лет спустя у Булгакова в «Мастере и Маргарите», что писатели, разместившиеся в «Доме Грибоедова», говаривали запросто: «Я вчера два часа протолкался у Грибоедова». Точно такая же простота царила и в нашем институте. Интересно, что бы почувствовал прославленный партийный деятель Сергей Миронович Киров, если бы услышал эту странную, звучащую как пароль, фразу: «увидимся в Кирове», – и понял бы,

почему парк, который носит его имя, так популярен среди студентов! Впрочем, может, он и сам любил вкусно поесть и выпить пивка?

Парк имени Кирова, один из многих зеленых островков среди городского моря, был совсем рядом с институтом, по другую сторону улицы Глинки. В Ташкенте все парки хороши, но наш казался нам самым красивым. Каких только деревьев не было в его аллеях! Дубы, клены, тополя, акации, чинары... Парк заложили в 32-м году, но чинары здесь были и вековые. Через пруды, заросшие водяными лилиями, перекинуты были выгнутые мостики с узорными перильцами. С весны до поздней осени переливались яркими красками клумбы. Аромат цветов разносился по всему парку, смешиваясь с запахами, не менее соблазнительными – шашлыков, самсы и других яств, которые изготавливались тут же. Именно эти запахи нас и манили в парк!

Как и любой восточный город, Ташкент славился своими шашлычными и пловешными под открытым небом. На любом базаре над гудящими толпами покупателей витал острый запах баранины, лука, кипящих в масле пирожков, плова, пельменей. Процветали разнообразные парковые забегаловки: кухни обычно помещались в маленьких домиках, а рядом под навесом – столики для посетителей. Уютно, прохладно... Одну из таких парковых «кормушек» с давних пор облюбовали студенты нашего факультета. Готовили здесь самсу, но ребята называли это заведение не иначе, как пивной, ведь ходили сюда ради пива. Его заказывали сразу ящиками. Ну уж пиво-то, конечно, закусывали самсой. А вкуснее самсы вряд ли что и бывает. Так мне и теперь кажется, хотя с тех пор я перепробовал сотни разных блюд.

Самса – это пирожки, начинённые мясом с луком и перцем. Чем жирнее мясо, тем они сочнее. Глиняная печь с выпуклыми стенками, в которой готовят и лепешки, и самсу, называется тандыр. Уж не знаю, в какой из восточных стран и в какой глубокой древности изобрели её, но уверен, что этот замечательный изобретатель любил вкусно поесть. Тандыры бывают разной формы, иногда они низкие, но тот, что был в нашей пивной, походил на бочку. Мне очень нравилось глядеть, как повар, согнувшись над печью и опираясь одной рукой на выпуклую стенку, закидывает внутрь сырую самсу. Он закидывал ее ловко и быстро, так, чтобы пирожки не на дно падали, а прилипали к раскаленной стенке. А потом каким-то особым, очень длинным деревянным черпаком вынимал готовые... Голова повара поверх колпака или тюбетейки была обвязана платком, но большая часть лица оставалась открытой. Красный, распаренный, морщась от дыма, он то и дело обтирался полотенчиком, привязанным к фартуку, но лицо тут же снова покрывалось потом...

* * *

Стоял ранний октябрь – возможно, это было мое первое участие в вольном студенческом бражничестве. Я наслаждался всем – пивом, самсой, компанией. Каждая шутка казалась мне верхом остроумия. А шутки сыпались со всех сторон, для того ведь и собрались, чтоб повеселиться, стряхнуть непривычное еще напряжение. Была к тому же суббота – значит, впереди еще целый свободный день. У себя в Чирчике я после занятий каждый вечер ездил домой.

Но сейчас не торопился. Успеется. Чуть-чуть охмелев, я вместе со всеми заливался хохотом, глядя, как Валера Круглов, наш староста, невысокий усатый крепыш, разглядывает на свет перевернутую бутылку с пивом. Со дна по всей бутылке расползлись мутные осадки, и Валера мрачно сообщает:

– Сразу видать: советское.

– Ты, Усы, не переживай! «Осадки – сладки» переиначивает поговорку баскетболист Серега Тельтевский и, выхватив у Валеры бутылку, открывает ее. Могучий фонтан пива окатывает и Валеру, и комсорга нашего, Кима, которого родители, на его беду, назвали диковинным именем – Эрудит, а друзья прозвали Ерундитом, и Сережку-боксера. Хохочут все, даже и Ерундит, у которого очки залеплены пивной пеной.

– Значит, так... Покупаем тебе очки, как у Элтона Джона, с дворниками! – щедро предлагает Саня Носов. Опять все закатываются. Элтон Джон – популярный английский рок-музыкант, звезда. Мы недавно прочитали о нем в каком-то журнале, где, между прочим, сообщалось, что Элтон на концертах все время меняет очки, у него их с собой пар тридцать. И джинсов, как кто-то из ребят предположил, наверно, не меньше в его гардеробе...

Между прочим, джинсы – одна из серьезных проблем нашей жизни. Они не просто модны. Джинсы – это признак того, что ты современный парень. Если их нет, ты чувствуешь себя каким-то... неполноценным, что ли. А настоящие джинсы, западные, стоят в Ташкенте не меньше ста пятидесяти рублей. Это, примерно, пятинедельная мамина зарплата. Стипендию – сорок рублей в месяц – начнут выплачивать только после первой сессии. И не всем, а десяти лучшим студентам в группе. А мы ведь не так оборотливы, как пузатый Толик Тамбовцев...

Кстати, теперь уже он, Тамбовщина, стал мишенью для шуток за нашим столиком. Кто-то спрашивает, сколько пуговиц сегодня отлетело у него с рубашки. Кто-то заявляет, что сам видел: пуговицы не просто отлетают, сначала они с треском ломаются – с такой силой на них напирал Толиково пузо. А Тамбовщине хоть бы что! Он ухмыляется: «Вот доживете до моих лет...»

Заказали еще один ящик жигулевского пива. И еще самсы. Кутить так кутить!

Наконец я спохватываюсь: мы уже три часа просидели! Пора мне двигаться в Чирчик.

* * *

В Чирчик я ездил на автобусе, а до автовокзала добирался троллейбусом. Сегодня дорога казалась мне особенно приятной. Я стоял в конце салона, держась за перекладину и прислоняясь горячим лбом к большому прохладному стеклу. Троллейбус раскачивался, меня чуть-чуть подбрасывало, пошатывало, мне казалось, что я плыву на корабле.

Я не был пьян, я был счастлив.

Глава 2. Признание в любви

Солнечный сентябрьский день подходил к концу, когда я добрался до местечка, о котором мечтал с утра. Гибкое листовое железо крыши чуть прогнулось под моей тяжестью и издало негромкий звук, будто крыша со мной поздоровалась: «Брум-м! Привет, вот и ты! Я соскучилась!» – «Привет! И я тоже!» – «Усаживайся поудобнее». Я чуть передвинулся. Крыша снова что-то дружески пробрумкала. От нее волна за волной исходило тепло, как от живого существа, и это тоже было приятно.

Сегодня я вернулся в Ташкент из Чирчика, где провел субботу. Теперь, став студентом, я надолго поселился в дедовском доме.

Возможно, с каждым так бывает: наступил в твоей жизни какой-то переломный момент – и все окружающее начинаешь видеть словно бы заново. Согласитесь – когда становишься студентом, то есть из мальчишки-школьника превращаешься во взрослого юношу, происходит именно такой перелом. Вероятно, я многое в эти дни стал воспринимать иначе, чем прежде. Вот и сейчас, сидя на крыше и поглядывая по сторонам, я вдруг особенно остро почувствовал, как мне здесь все дорого. Любил-то всегда, а осознал только теперь.

* * *

Старый дом с младенчества был мне родным, все здесь было моим, и целиком, и по отдельности – двор, комнаты, крыша. У крыши, пожалуй, имелись особые достоинства, в детстве я открывал их одно за другим. Во время сильных дождей, например, она устраивала водяное представление. Из окна дедовой спальни я глядел, как на другой стороне двора по крышам построек стремглав бежит вода. Стекая вдоль невысоких бортиков, соединявших листы железа, она попадала в широкие, похожие на хобот слона, железные желобки, не доходящие до низа стены – и, вырываясь из них толстыми жгутами, хлестала по цементу двора. У-ух, как хлестала! Просто дух захватывало!

Зимой крыша предлагала другое зрелище. Снег, растаяв, стекал в желобки, – но водяные жгуты будто замерзли на лету и превращались в сосульки, толстенные и длиннющие. Они переливались на солнце, соблазняя не меньше, чем мороженое. А становилось чуть теплее – с них звонко и мелодично капали капли, перекликаясь между собой.

Еще интереснее было наверху. Заберешься на крышу – и чувствуешь себя гораздо более ловким, более собранным, чем внизу. Почти гимнастом. А если в ясный день улечься на спину и смотреть вверх, небо превращается в перевернутую голубую чашу, глубокую-глубокую. Всматриваешься – и постепенно тебя в эту чашу затягивает. То ли вверх летишь, то ли проваливаешься в бездонную голубизну.

Сегодня я еще сильнее, чем обычно, ощущал свою собранность и легкость. Тело стало воздушным, невесомым – вот-вот взлечу и начну парить над двором. Дышалось так легко и свободно, как бывает только осенью.

В этот предвечерний час старый двор, знакомый мне до каждой былинки, приобрел какой-то таинственный вид. Шпанки, яблони, виноградные лозы, кусты роз отбрасывали причудливые, изогнутые тени. Самой могучей была длинная тень урючины. Она пересекала двор и теперь, словно привидение с распростертыми руками, медленно поднималась, обнимая стену дома напротив меня. Эх, жаль, что пять минут назад, взбираясь на крышу по морщинистому стволу, я не догадался оглянуться и поглядеть, как выглядела тень урючины со мной на спине! Привидение поднималось, поднималось – и ослепительно белая штукатурка стены темнела, блекла на глазах...

* * *

Хлопнула дверь, дверь той самой пристройки возле урючины, где когда-то жили мы с родителями. Во двор выскочили два карапуза. Пристройку теперь сдавали, у жильцов было двое мальчишек, пятилетний Аркаша и трехлетний Гриша. «Ну, прямо мы с Юркой», – подумал я с какой-то сладкой грустью, чувствуя себя очень взрослым. Эти малыши и на самом деле как бы оживляли «картинки» из нашего с Юркой не такого уж далекого детства.

Аркашка, выбежав из дверей верхом на палке, продолжал скакать по двору, подгоняя своего коня лихими воплями и шлепками. Гришка не шумел и далеко от дверей не отошел. Толстенная фигурка в распашонке и ситцевых штанишках остановилась возле урючины, побродила немного вокруг дерева, а потом, пыхтя и размахивая руками, потопала к бильярдному столу...

Чем Гришка особенно напоминал Юрку, так это неистощимым аппетитом и энергией в поисках еды. Какие лакомства созревают на урючине, Гришка догадался чуть ли не в тот же день, как его впервые выпустили погулять во двор. С тех пор, как семья дяди Миши переехала в другой дом, тетя Валя перестала присматривать за садом. Никто не следил и за урожаем, бабушка с ее «спундилезом», конечно же, не занималась этим. Летом, когда урючина начинала плодоносить, спелые плоды, падая с веток, устилали фруктовым ковром цемент вокруг ствола. Самые зрелые и сочные, шмякнувшись о цемент, разбивались, над ними кружились мошки и осы, по ним суетливо ползали всякие жучки и муравьи. С этого лета к их компании присоединился Гришка. На ос сердито махал ручонками, муравьев смахивал, если замечал, а чаще, я думаю, глотал вместе с абрикосами. Поедал он их в несметном количестве. Бабушка Лиза, конечно же, видела это из своего окна, но ничуть не огорчалась. Урюка было так много, что как ни раздувался животик маленького обжоры, с таким изобилием он справиться не мог. Хватало и всем родственникам, уносившим урюк ведрами.

В августе урючина, наконец, отдавала последнее. Но догадливый Гришка уже давно приметил, куда девается то, что он не успел съесть. В саду, совсем недалеко от урючины, стоял бильярдный стол, покрытый железным листом. Здесь урюк под знойным азиатским солнцем превращался в вязкую, сладкую курагу. Гриша справедливо считал, что она ничуть не хуже. Правда, стол был высоковат, но имелась старая облезлая скамеечка, которую бабушка Лиза ставила себе под ноги, отдыхая во дворе. Не очень-то легко было подтащить ее к столу, взгромоздиться, ухватиться ручонками, чтобы не упасть, за загнутые края железного листа и, вставши на цыпочки, заглянуть наверх. Упорный и трудолюбивый Гриша все это проделывал. Иногда несколько раз подряд, потому что, цапая двумя руками курагу, трудно удержаться на скамеечке. Упав, он терпеливо взбирался снова. Пухлые щечки становились пунцовыми, губки сжимались, слышно было побряхтывание, потом чмоканье...

Сейчас, в сентябре, опустел уже и бильярдный стол. Вот этого-то Гриша никак не мог осознать. Каждый день ему казалось, что курага снова появилась на железном листе. И я со смехом, но и с долей сочувствия наблюдал с крыши знакомую сценку: Гришка тащит к бильярду скамеечку, влезает, приподнимается на носочки... Слезает, как писал поэт, «с грустной думой на лице». Ну, нет так нет, придется еще чем-нибудь заняться...

Какое-то время я еще следил за тем, как Гришка, отправившись к курятнику, закидывает бабушкиным курам червяков через проволочную сетку. Потом раздалось отчаянное кудахтанье – ага, это он уже гоняется вместе с Аркашей за их собственной белой курицей, которая, в отличие от бабушкиных, вольно разгуливает по двору. Ее вольную жизнь мальчишки отравляли как могли.

Совсем недавно, сидя вот так же, как сегодня, на крыше, я наблюдал увлекательную, как блокбастер, картину: братья-разбойники гоняли курицу по двору до тех пор, пока она не

угодила в яму для сточных вод. Лист железа, прикрывавший яму, кто-то сдвинул, а курица была явно не в том состоянии, чтобы заметить это, и вот... На ее куриное счастье, дождей давно не было, курица попала в грязь, а не в воду и только поэтому не стала утопленницей – ведь куры, как известно, тонут мгновенно, как камни... Но как же она орала!

Я только решил слезть с крыши, как вернулся с работы Рафик, отец малышей. Надо было видеть его лицо, когда он услышал вопли своей любимицы! Да, Рафик почему-то души не чаял в этой курице и уделял ей внимания, пожалуй, побольше, чем сыновьям. Кормил ее собственноручно, что-то приговаривая... Рафик, мужик мрачноватый и молчаливый, был парикмахером. Кто знает, может, ему просто не повезло, что не стал птичником? Может, работая на какой-нибудь куриной ферме, был бы повеселее?

Раскиснув от смеха, я глядел, как Рафик топчется вокруг ямы, а Аркашка, обхватив его ногу, вопит: «Она купается, не трогай ее!» Еще смешнее (мне, конечно, а не Рафику) стало, когда он, чуть ли не весь свесившись в яму, добирался до несчастной страдалицы. Подоспевшая на помощь жена, миловидная Роза, держала его за ноги, курица орала, будто ее режут...

* * *

На этот раз дело обошлось без ямы. И скоро я, отвлекшись от ребят и от двора, загляделся вдаль.

Привлекательность дедовой крыши еще и в том, что на ней ты чувствуешь себя, как на караульной сопке. Вроде тех холмов вокруг Чирчика, по которым мы, когда были мальчишками, лазали, разыскивая доты времен войны. Тебе отсюда видны дальние дали, а сам можешь спрятаться. За трубой, к примеру. Этими свойствами крыши мы с Юркой много раз пользовались, когда нужно было за кем-нибудь проследить или покараулить, не входит ли в ворота кто-то из взрослых, пока один из нас занят чем-то не очень позволительным... Ну, и для многого другого. Порой я с любопытством глядел, что происходит у кого-то из соседей или вообще от нечего делать разглядывал с крыши окрестности. Так что знал их неплохо. Но сегодня, сейчас, я их увидел... Как бы сказать поточнее? Глазами первооткрывателя? Не совсем так, ведь я все узнавал по-прежнему. Но по силе интереса и даже восхищения – да, это было, как открытие.

Вечернее небо уже бледнело и где-то там, где открыт был горизонт, появилась молочная дымка. Эх, жаль, что отсюда, от нас, не виден Чаткальский хребет! Этот хребет – один из отрогов огромной горной системы Тянь-Шань. Нам еще в школе говорили, что длина ее с запада на восток – около 2500 километров. Она как бы объединяет Узбекистан и с Киргизией, и с Казахстаном, и даже с Китаем. Ее знаменитые высоты – пик Победы, превышающий 7 километров и Хан-Тэнгри, тоже почти семикилометровая вершина, известны во всем мире. Наш Чаткальский хребет – западная оконечность Тянь-Шаня. Здесь высоты пониже, но четыре с половиной километра – имеются и такие – тоже неплохо. И ледники, конечно, немалые. Есть и заповедник, где леса из арчи – это вид можжевельника – и грецкого ореха...

Говорят, что когда Ташкент еще не настолько разросся и не был так застроен, из любого места в городе можно было на востоке увидеть горы. А теперь лишь на улицах, которые пронизывают весь город по прямой, с запада на восток, удается в ясный день увидеть голубовато-белые вершины, покрытые вечными снегами. Там, в ледниках Чаткальского хребта, берут свое начало реки. И Чирчик, бурный в горах Чирчик (он даже так и назывался в древние времена – Парак, то есть «Стремящийся»)... Стремящийся – таким он и остается в предгорьях, среди ярких альпийских лугов, где летом пасется скот. Лишь вырвавшись на равнину, река успокаивается. Здесь, в долине Чирчика, находится Ташкентский оазис. То есть он и стал-то оазисом благодаря Чирчику. Река позволила создать мощную ирригационную систему с несколькими магистральными каналами и многими десятками распределительных веток.

Бозсу (его именем названа вся система) и Анхор – в числе самых крупных магистральных каналов...

Нам повезло – ведь совсем неподалеку, в Казахстане и Туркмении, лежат безводные песчаные пустыни – Каракумы. А у нас – благодать. Ветвистая, как могучее дерево, система каналов, канальчиков, арыков орошает фруктовые сады и виноградники, хлопковые поля, посадки риса, кукурузы, конопли, табака. Да что тут ни посади – все растет! И почва хороша – серозем, илистый перегной, много веков наносившийся в эту долину при разливах рек. Тучная почва, изобилие воды – вот и оазис.

* * *

Да, нам повезло, подумал я, окидывая взглядом вечеряющий город. Но размышлял я при этом не о величине Тянь-Шаня, не об оазисах, полях и виноградниках – это, говоря по правде, сегодняшние мои мысли, – а радуясь тому, как вокруг красиво.

Ташкент...

Со всех сторон окружали меня двухэтажные и одноэтажные домики, обрамленные зеленью садов. Море домиков! Металлические и шиферные крыши, яркими пятнами поблескивая на солнце, свиваясь в причудливые узоры, убегали вдаль, порой залетали мне в глаза ослепительные вспышки – лучи заката, преломившегося в оконном стекле.

Среди этого пестрого городского лабиринта я стал высматривать знакомые улицы. Ага, вот – Шедовая. Отсюда мне видны только зеленые макушки деревьев, но сколько же раз проходил я под ними! Ветки шатром смыкаются высоко над головой, ты идешь в густой тени. Лишь кое-где солнечные лучики, пробившись сквозь темную зелень листвы, золотистыми пятнышками падают на асфальт, скользят то по лицу, то по рукам, по одежде. Наступишь на солнечное пятно – оно, будто подпрыгнув, уже на носке твоей сандалеты! А когда на кого-нибудь из прохожих смотришь, кажется, что его озаряют вспышки маленького прожектора. Вспышки перемещаются, исчезают... Доля секунды – и сценка закончена...

Шедовая выходит на Педагогическую улицу, ту самую, где мой институт. Но с крыши, за шапками деревьев, Педагогическая мне не видна.

Ташкент... Какой же ты цветущий город! Почти все улицы похожи на аллеи. Куда ни шагнешь – сады, бульвары, парки. Взять хоть парк Кирова, куда ходим мы теперь всей командой выпить пивка после лекций. Пиво, конечно, приятный напиток, но не зря же мы пьем его в парке, а не в пивнушке какой-нибудь сидим. Вроде бы болтаешь, веселишься, по сторонам вовсе и не смотришь – а вечером закроешь, засыпая, глаза – и не пивную кружку видишь перед собой, а чинары, уходящие в небо. Замечательный парк. Но разве другие – хуже?

Тут я вспомнил, в каком прекрасном уголке побывал сегодня. Возвращался я из Чирчика, в дороге не успел дочитать «Затерянный мир» Конан Дойла, и, сойдя с трамвая на конечной остановке, решил: дочитаю-ка на бульваре Ленина, все равно домой идти через него.

Мы с Юркой еще пацанами этот бульвар полюбили и бегали сюда – благо, от дома близко – в Детский городок, где имелась и крепость, и велотрек, и прочие мальчишеские радости. На другие достоинства бульвара мы тогда не обращали внимания.

Небольшой, длиною примерно с километр, он тянулся от гостиницы «Ташкент» почти до Туркменского базара, по самой, можно сказать, шумной части города. Людные улицы, нагромождения домов, трамвайные и троллейбусные линии. Шум, грохот, брякают рельсы, клацают провода, надсадно гудят машины. Но шагнешь на бульвар, под защиту деревьев – и все звуки сразу смягчаются. А по обе стороны главной аллеи раскинулись небольшие сады. Они как бы представляют садовое искусство разных стран. Японский, французский, узбекский и русский – уж не знаю, почему сделан был именно такой выбор, но сады удивительно красивы, каждый на свой лад. В японском – и гроты, и каменные горки, и посадки карликовых растений. Во

французском среди аккуратно подстриженных газонов бьют фонтаны. Русский навевает лирическую грусть своими плакучими ивами и березками...

Ну а я устроился в одном из уголков узбекского сада, в аллейке-винограднике. В этом зеленом туннельчике, созданном гибкими лозами, протягивающими к тебе свои широкие листья, и без Конан Дойла казалось, что попал в иное пространство, не имеющее никакого отношения к шумному городу. А тут еще в руках «Затерянный мир!»

* * *

– Эт-то что такое, а? Куда пошли-и? Сколько раз сказано – не выходить за ворота?

Миловидная, похожая, как мне казалось, на библейскую Рахиль, Роза, мать Аркаши и Гриши, вообще-то была хохотушкой, любила посмеяться. Но и ей далеко не всегда было весело. Еще бы: и хозяйство, и двое мальчишек, и работа – Роза дома шила брюки по заказам ателье. Вот и сейчас, сидя у окна за машинкой, она не упускала из виду своих озорников.

– Еще раз увижу, накажу! – приговаривала она, уводя малышей домой. – Ишь вы какие! Тебе, Аркашка, что велено? За братишкой следить. А ты?..

Голос ее, сопровождаемый Гришкиным ревом, стих за дверью. Я вздохнул: ну вот, и это как возвращение в детство. Сколько раз на нас с Юркой так орали то тетя Валя, то еще кто из родственников! Сколько раз нас ловили при попытке к бегству! Но иногда не успевали...

Кстати, вот и еще одно место – лучшее место в городе Ташкенте, как мы с Юркой тогда считали: набережная Анхора, бассейн...

* * *

Летний солнечный денек – мне десять лет, я уже школьник и на каникулах живу у деда в старом доме. Мы с Юркой удираем к Анхору, искупаться в бассейне... Тайком, разумеется. Кто бы нас одних отпустил? Приключение, понятное дело, окончилось трепкой, но насколько же сильнее было удовольствие, если я и сейчас о нем помнил! Тогда нас с братишкой радовало, конечно, купанье и только купанье. Я не то, что увидел – я физически почувствовал, как мы с Юркой, прямо в шортах, с визгом плюхаемся в воду... И все же вслед за этим перед глазами у меня появилась набережная Анхора, одного из главных каналов, орошающих Ташкент – тенистая набережная, пышно и разнообразно засаженная и могучими карагачами, и чинарами, и урючинами, и плакучими ивами... Давненько я там не бывал, хоть и не далеко идти. А это и впрямь одно из лучших мест в Ташкенте. Даже и без бассейна. Надо будет съездить к Анхору, хотя бы с Ридваном. И Старую Крепость показать ему, и вообще... Он же совсем не знает, как красив Ташкент!

Театральная площадь, окруженная садами... Перед знаменитым театром Навои – большой фонтан, где вода бьет из мраморной коробочки хлопка. По вечерам вода озаряется огнями разных цветов: зеленый, синий, красный сменяют друг друга под звуки классической музыки. Ощущение такое, что цвет меняется в ритме мелодии, что вся эта цветомузыка рождена силой бьющих к небу струй.

Замечательные фонтаны и возле площади Ильича. Я слышал, что до середины шестидесятых годов ее называли Красной площадью... До чего же наше республиканское руководство стремилось подражать Москве! Соорудив на площади, вместо Мавзолея, огромную статую Ленина, узбекские вожди во время праздников, взгромоздившись на трибуны, приветствовали демонстрантов. И, конечно, чувствовали себя такими же благодетелями народа, как их московские хозяева...

Я тоже разок-другой побывал на демонстрации, поглазел и на монумент, и на трибуны... Но, на мой вкус, самое примечательное на площади – фонтаны. Их там два ряда с дорож-

кой между ними. В каждом ряду два крайних фонтана бьют навстречу друг другу, смыкаясь в вышине, а остальные образуют каскад, поток, низвергающийся уступами. В широкий проход между фонтанами ты как бы ныряешь – над тобою водяная пыль, с двух сторон летят брызги. Какая прохлада, что за радость в жаркий день! Детвора визжит, хохочет...

Возле площади Ильича – прекрасный парк, вернее, старинный Городской сад, хотя теперь он, тоже в подражание московскому, называется Парком культуры и отдыха имени Горького. Не знаю, красив ли московский его тезка, но сомневаюсь, что растут там такие могучие карагачи и чинары, такие дубы, акации, тополя... В парке и выставки нередко бывают, и кинотеатры есть под открытым небом. Вот лучше этого, мне кажется, вообще ничего быть не может: вечерняя прохлада, перед глазами – экран, над головой – звезды, в руке – пломбир!

Ребятня помельче предпочитает парк Ленинского комсомола. Он самый большой в городе, здесь есть и ресторанчики, и шашлычные, и танцплощадки, и даже лодочная станция. Но мальчишек влечет сюда детская железная дорога. Уменьшенная в четыре раза – это по размерам путей и вагонов – она действует, как настоящая. Дети сами обслуживают ее. Для обучения юных железнодорожников имеются специальные курсы.

* * *

Так я сидел – и с любовью думал о Ташкенте. Конечно, моих впечатлений хватало для этого с избытком. Но говоря по правде, это не значит, что я хорошо знал Ташкент. Познавательные экскурсии, посещение музеев и тому подобное не входило в наш тогдашний культурный обиход. Ни ребенком, ни юношей не видел я мавзолеев Зайн-ад-дина-бобо и Абу Бакра Каффаля, сохранившихся со времен средневековья или медресе Барак-Хана и Кукельдаш. О них, как и о многих других памятниках древности, услышал и прочитал я гораздо позже. Как и о том, например, что в некоторых музеях Ташкента (всего их в городе 22) хранятся уникальные религиозные рукописи и произведения искусства Восток, начиная с древнейших времен... Кстати, Музей прикладных искусств находился неподалеку от дедова дома, а я в нем так и не побывал...

Сейчас я сожалею об этом и понимаю, что многое невосполнимо. Не только потому, что живу я теперь в другой стране, в другой части света. Мне говорили, что теперь в Ташкенте очень запущены многие здания и парки – а только больших парков, с различными развлечениями и зрелищами для отдыхающих, было пятнадцать. Так что, приехав в Ташкент из далекого Нью-Йорка, я увижу, вероятно, совсем не тот город, каким помню его со времен юности.

Но в моей душе Ташкент остался прежним. Надеюсь, что он воспрянет, снова станет таким же прекрасным, как в тот день, когда, сидя на крыше, я любовался и старым своим двором, и городом. Можно, пожалуй, сказать, что это было признание в любви.

Вот я и решил повторить его на этих страницах.

Глава 3. Белое золото

Оглянись, незнакомый прохо-о-жий,
Мне твой взгляд неподкупный знако-о-ом...

Автобус заполнен звуками, кажется, что они вот-вот станут зримыми, весомыми, от них лопнут стекла, автобус разлетится на части. Голосам поющих вторит гитара – это Лёня Коган перебирает свою шестиструнку. Он неуютим, он может играть часами. А с той минуты, как Лёня берет в руки гитару, он – душа всей группы... Автобус покачивается, звенит гитара, мы поем песню за песней и едем, едем, едем... Куда? На хлопок, конечно, куда же еще! Мы, первокурсники, не успели даже серьезно втянуться в занятия, как наш институт был отправлен на хлопок...

* * *

Узбекистан славился хлопком. Его даже называли иногда в печати «хлопковой республикой». А хлопок величали не иначе, как «белым золотом». Вовсе не потому, что хлопок – это превосходные ткани, а еще и масло, незаменимое для кондитерских изделий. Вслух, конечно, говорилось именно об этом, и только об этом. Но, вероятно, лишь такие зеленые лопухи, каким был я, верили, что именно ради рубашечек, пеленочек и прочих изделий, вытканых из хлопка, наша республика надрывается, выращивая «белое золото». На самом-то деле надрывались совсем по другой причине: хлопок – ценнейшее стратегическое сырье. Из него производится целлюлоза, то есть основа пороха. Ну, разве не «золото», особенно для такого сверхвооружённого государства, каким был Советский Союз? Впрочем, и в современной Америке чуть ли не девяносто процентов хлопка, выращиваемого в южных штатах, идет на целлюлозу, то есть используется, как сырье для военной промышленности...

Благодаря теплему климату, хлопок растили по всему Узбекистану. В осенние месяцы не было, казалось, события, более важного для страны, чем то, как продвигается сбор хлопка. Области, районы, колхозы под жесточайшим надзором комитетов коммунистической партии обязаны были соревноваться друг с другом – кто больше хлопка соберет и быстрее закончит уборку. Каждый вечер по телевидению долго и торжественно сообщалось, каковы успехи. Звучала медленная узбекская мелодия, на экране стройными рядами шли и шли по бескрайним хлопковым полям уборочные комбайны и ползли строки сводки: «Ленинская область собрала... Фрунзенская область... Кашкадарьинская область...». Эти же слова одновременно повторял голос диктора.

Для чего нужен был такой ажиотаж? Я и тогда не понимал, и до сих пор не понимаю. Может быть, для того, чтобы подстегивать людей, пробуждать «трудовой энтузиазм»? Или для того, чтобы начальству получать награды за успешное руководство? Ведь на самом деле все эти сводки, все эти многомиллионные цифры, вся эта показная гордость по поводу замечательных успехов – все было ложью! Каждый колхоз, каждый район и область в своих отчетах непомерно завышали количество собранного хлопка. Казалось бы, проверялось, записывалось все: и сколько собрано, и сколько сдано. Но способы обмана вырабатывались десятилетиями, их было множество, нередко для участия в них создавались целые мафии. Предположим, на заводе, перерабатывающем хлопок, списывают, как негодную, партию хлопка, присланную из другой области (или даже из другой республики). Он якобы попал под дождь во время перевозки. На самом же деле никто этого хлопка не посылал. Завод и отправители заранее обо

всем договорились... Оформить такую махинацию совсем нетрудно, имея на железных дорогах «своих людей».

Уже после того как наша семья уехала из страны, на заре перестройки, когда кое о чем начали говорить в открытую, разразился грандиозный скандал, связанный с одним из хлопководческих колхозов. Это был колхоз-миллионер, имевший колоссальные доходы. Председателем его был Герой Социалистического Труда, народный депутат. Колхоз этот на самом деле давно уже стал рабовладельческой фермой председателя. Колхозников-рабов за малейшее неповиновение бросали в подземную тюрьму, держали в цепях, морили голодом. Дело было таких масштабов, настолько запутанным и ужасным, что разбираться в нем приехали следователи из Москвы. Арестовать плантатора-рабовладельца удалось лишь с помощью войск: он отстроил себе крепость и продержался в ней несколько месяцев.

Это было одно из немногих дел, о котором говорили открыто. А сколько по всей стране было таких рабовладельцев, не получивших наказания?

Никто из нас не знал, конечно, что происходит в колхозах и совхозах. Нам твердили только одно: «Нужна всенародная помощь. На хлопок!». И каждую осень большая часть населения превращалась в сборщиков хлопка. «На хлопок» отправляли рабочих, служащих, поголовно всех студентов, школьников-старшеклассников вместе с учителями.

* * *

Ранним утром – было около половины восьмого – выскочил я из троллейбуса возле института – и ахнул. Такое увидишь нечасто! Вся площадь перед нашим институтом, даже и широкая мраморная лестница, ведущая в здание, была заполнена толпой студентов – пестрой, шумной, гомонящей. У кого – рюкзак за спиной, у кого – чемоданчик рядом или тючок. Словом, то ли рынок, то ли вокзал. Все в рабочей одежде, то есть в такой, что поплоче, даже модницы-девчонки повязали косынки. Шумная толпа перемещалась, колыхалась, кипела – и только одна фигура, стоящая на зеленом газоне в самом центре площади, была молчалива и неподвижна. Бронзовый Михаил Фрунзе, знаменитый чапаевский комиссар, гордо восседал на бронзовом коне и оттуда, с высоты, с гранитного пьедестала, зорко всматривался вдаль. Казалось, он ожидает, когда же мы, наконец, соберемся, чтобы, сорвавшись с пьедестала, возглавить наш славный поход на хлопок.

Впрочем, возглавить ему пришлось бы колонну «Икарусов». Десятки ожидавших нас автобусов стояли вдоль обочины тротуара возле входа в институт. Рассаживались мы – конечно, по группам – с шумом, гамом, хохотом. Все были возбуждены. Уезжали ведь надолго: отправляли нас – по слухам, точно этого никто не знал – не меньше чем на месяц. Год 1977 был юбилейным, уже через несколько дней всей стране предстояло отпраздновать шестидесятилетие великой октябрьской революции. Из всех показух, которыми славился Советский Союз, эти юбилеи были самыми громогласными. В честь юбилея год был объявлен годом ударного труда (поясняю: «ударного» – значит, изо всех сил, не считаясь со временем и затратами, лишь бы сделать побольше).

Именно ради торжественности в этот день, первого ноября, «на хлопок» одновременно выезжал весь город – институты, школы, предприятия. И выезд нам устроили достаточно пышный. Когда, обогнув парк Кирова, наша колонна выехала на Шота Руставели, одну из главных магистралей Ташкента, нам тут же дали «зеленую улицу». На перекрестках стояли милиционеры – в одной руке жезл, в другой, возле рта – свисток. Машины и пешеходы, пересекавшие улицу, терпеливо ждали, когда же мы, наконец, проедем.

Пока не выехали из города, мы пели, болтали, хохотали, глазели в окна.

Ташкент готовился к празднику. К лозунгам и призывам, которые постоянно, для нашего воспитания и поучения, висели на улицах, к обычным «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет

жить», «Партия – наш рулевой» и прочему добавились бодрые призывы: «Достойно встретим...», «Шестьдесят лет от победы к победе...» и тому подобное. Сколько же их было – на стенах зданий, поперек улиц, на крышах! Но разнообразием они не отличались и были так привычны, что по одной-двум первым буквам угадывался весь текст. Мы знали все это наизусть, как верующие знают молитвы. Смешно – против любой из мировых религий нас все время предостерегали, а эту, под названием «коммунизм», навязывали взамен. И все же, чем больше мы выросли, тем меньше верили. И тем больше смеялись. А смех – это ведь уже сопротивление. Носов, Цой, Коган пересказывали услышанные где-то анекдоты и переиначенные лозунги: «Партия, верни награбленное», «Партия, дай порулить!». Мы хохотали – и сами пытались придумать что-нибудь остроумное. Но чаще, чем остроумное, получалось похабное...

Но вот Ташкент позади. Теперь по обеим сторонам бетонки, насколько хватало взора, поля и сады. Сады плодовые – яблони, персиковые деревья, виноградники – лозы на бетонных подпорках, поля, которые летом были засажены подсолнухом, кукурузой, капустой. И хлопок, хлопок, хлопок. Очень много хлопка! Каждый из нас десятки, если не сотни раз видел хлопковые поля. Но сегодня мы смотрели на них с особым интересом: нам предстояло работать на таких же.

По бетонке вся институтская колонна «Икарусов» ехала часа три, а потом два автобуса – наш и еще один – свернули на ухабистую проселочную дорогу и затряслись по ней в клубах желтой пыли. Сразу стало как-то скучновато – праздник окончился.

Фыркнул и заглох мотор. Приехали... Мы с шумом спрыгивали на землю, разминали затекшие ноги, оглядывались с любопытством вокруг.

Подвезли нас к одноэтажному глинобитному зданию. Длинное, с островерхой крышей, оно похоже было на сарай. Других домов вокруг не было, только поля, рядочки тополей по обочинам разделявших их дорог и редкие зеленые островочки – рощицы.

Нагруженные рюкзаками и чемоданчиками, вваливаемся в свое новое жилище. Какое же оно неуютное и убогое! Вместо пола – утоптанная, плохо выровненная, бугристая глина. Вдоль стен – длинные нары в два яруса. К ним приставлены лесенки, чтоб взбираться наверх. Весь барак разглядеть трудно, потому что вдоль и поперек него висят матерчатые занавески – что-то вроде стен, образующих «купе». В середине, на свободном пространстве, большая металлическая печь.

– Устраивайтесь! Парни – наверху, девочки – внизу... Через час – на поле, – объявил Николай, наш преподаватель физкультуры. – Побейте, побейте! Не копайтесь.

Перебрасываясь шутками с девчонками, которые копошились внизу, пугая их, что ночью кто-нибудь из нас непременно свалится на них, а то и вместе с нарами, мы разулись, залезли наверх и стали «устраиваться». Это было не сложно. Рюкзак – изголовье. Спальный мешок, свернутый рулоном, пока служит стулом, а ночью превратится в одеяло. В стенку над изголовьем вбита, оказывается, пара гвоздей. Замечательно! Чем не гардероб? Просто шикарная квартира! И поговорить есть с кем: слева от меня – Эрудит, справа – Лёнька Школьник. Словом, все совсем не так уж плохо, как показалось, когда вошли в барак. Здесь хотя бы нормальные окна и нормальные двери, подумал я, вспоминая нашу предыдущую, первую поездку.

Да – мы, первокурсники, этой осенью уже успели побывать в колхозе. Еще до начала занятий, как только укомплектовали группы, мы на неделю ездили собирать яблоки. Поселили нас в развалюхе без дверей и без оконных стекол, даже косяки и рамы отсутствовали. Правда, тогда, в августе, ночи были еще совсем теплые. Да и вообще сначала нам было не до комфорта. Дело в том, что как только мы принялись собирать яблоки, парни из кишлака начали приставать к нашим девочкам. Приставали грубо, нахально. Пришлось попросить их «слинять». Дошло почти до кулаков, но парни все же ушли, пригрозив: «знаем, где живете. Ночью ждите».

Наступила ночь, мы стали ждать... Дело осложнялось тем, что девчат поселили в другом доме, к счастью – с дверями и с окнами, метрах в двухстах от нашего. Пришлось разделиться.

Первыми, прихватив ножи, ушли охранять девочек Виталик и Ридван. Мы обещали сменить их через три часа и занялись постройкой баррикад. Забаррикадировать удалось только проём двери, поставив в него стоймя кровати ушедших, а окна заслонять было нечем. Остальные кровати сдвинули, чтобы держаться вместе. Вооружились как могли. У кого был нож, кто набрал булыжников или острых осколков стекла. Я разыскал кусок металлической трубы. Решили дежурить. Первым был Сашка Носов, он то прохаживался, то сидел, покуривая, на полу между окон, не выпуская из рук увесистую дубинку с длинным гвоздем, вбитым в ее толстую часть. Ведь не ждать же нападения с пустыми руками! Мы не раз слышали о том, как жестоко колхозные парни расправляются с городскими ребятами. Они запросто могли подкинуть нам «коктейль» – бутылку с горючим. Случалось, говорили, и такое!

Неприязнь была давняя, взаимная. Городские называли сельских ребят дикарями, а они и вправду не блистали ни воспитанием, ни культурой... Так и откуда бы? Смеяться над этим было, в общем-то, не очень хорошо... Сельские же, в свою очередь, презирали городских пижонов и белоручек, злились, что их считают «низшей кастой», завидовали городскому комфорту...

Не все, конечно, были такими, я это понимал. По мне, так добрее и приятнее Ридвана, парня из села, в нашей группе никого не было... Кстати, как он там сейчас, защитник девушек? Тоже небось волнуется, готовится к бою...

Тут с улицы донесся какой-то шорох. Все мы примолкли, притаились, вслушиваясь до боли в ушах, вглядываясь в зияющие чернотой проемы окон. Ночь была безлунная, темная, вокруг ни одного фонаря, лишь вдалеке тускло светилась лампочка над крыльцом домика девочек... Напряжение росло. Но вместе с ним росла и усталость. Мои глаза стали слипаться, я не заметил, как уснул.

Парни так и не пришли, а потом мы даже подружились с ними. Наша первая поездка закончилась благополучно.

Какой будет эта?

Наведя порядок на своих нарах, мы вышли из барака – всего нас было человек шестьдесят студентов и пять преподавателей – и выслушали короткий инструктаж: подъем в шесть, работаем с восьми до пяти, потом – свободное время. Неплохо, думал я, но как это время проводить? Развлечений особых не предвидится. Хорошо если не будет стычек с местными парнями. Здесь мы хоть по ночам в безопасности: двери запираются, в соседней комнате – преподаватели... У Николая вон какие бицепсы! Наш физкультурник ведь настоящий спортсмен, боксер.

Нам выдали куртки – черные, матерчатые, набитые ватой, они так и назывались – ватниками (было время, когда чуть ли не полстраны, особенно за пределами больших городов, ходило в этих ватниках) – и потопали мы на поле...

Этот первый рабочий день после утомительной поездки казался особенно тяжелым и никаких впечатлений у меня не оставил. Помню только, с каким наслаждением завалился я вечером на свои нары.

Глава 4. «В позицию!»

– Па-адъём!

Команду к побудке давал Турсун Мухамедович, преподаватель физики. Голос у него был зычный, ничего не скажешь. Вслед за командой раздалось что-то вроде барабанной дроби: вместо горна для побудки решено было использовать дойру. Я спал так крепко, что от этих звуков действительно чуть не свалился с нар. А сосед мой, Лёнька Школьник, подскочив, стукнулся головой о потолок и аж взвыл от боли.

– Только без жертв, пожалуйста, оплакивать не будем! – мрачно пошутил наш староста Круглов, отдергивая цветастую занавеску перед нарами. – Да будет свет!

Чего в нашем бараке хватало, так это света. Электрического. С потолка свисало столько лампочек на белых проводах, будто в бараке собирались то ли свадьбу играть, то ли снимать кино.

Умывались мы на улице. Но это было даже приятно – утренняя свежесть, прекрасный воздух, простор – бескрайние поля, птички поют... Лирическое настроение слегка испортилось, когда пришлось посетить одно местечко неподалеку от барака, за кустарником. Это был невысокий деревянный настил с круглыми дырками. Почти над каждой уже сидели на корточках, спустив брюки, наши парни. «Удобства» для девочек были по другую сторону барака. Но и для парней дырок явно не хватало, кое-кто уселся на корточках по соседству, вдоль кустиков. Да, тут уже не приходилось восхищаться свежим загородным воздухом!

На поле идти было недалеко, минут пятнадцать. На краю нашего участка стоял пустой херман. Так называют в Узбекистане ёмкости, в которые сбрасывают собранный хлопок. Это может быть лёгонький сарайчик или высокий деревянный ящик, или просто большой кусок брезента, расстеленный на земле. Для нас был поставлен прицеп с высокими решётчатыми бортами.

Наше поле... Как бы его описать? Вероятно, оно было очень красиво перед уборкой, когда хлопок созрел. Длинными рядами уходили вдаль невысокие, ветвистые кусты хлопчатника. И на всех кустах все ветки снизу доверху были покрыты коробочками с созревшим хлопком. Каждая коробочка походила на цветок: раскрывались, как четыре лепестка, четыре ее темных дольки, и из них, сияя белизной, выглядывал пушистый хлопок... Красиво! Не зря же хлопок так часто изображают на узбекских орнаментах, на посуде, даже на картинах. Но как печально выглядит поле после того, как пройдет по нему хлопкоуборочный комбайн! Хлопчатник поломан, на искореженных веточках висят – коробочки не коробочки, а их остатки, отдельные дольки, из которых торчат белые клочки. Иногда белые неровные нити свисают, как сопля, по всему кусту, до самой земли.

Вот такое поле мы и увидели. Серое в белую крапинку... Комбайн уже прошелся по нему, нам предстояло убирать остатки.

«Голубые корабли» – торжественно именовались комбайны в газетах и телевизионных передачах. На самом же деле... Уж какие там «голубые корабли!» Широкие, похожие на голодных чудовищ с распахнутой пастью, они медленно двигались по полю, подминая под себя несколько рядов хлопчатника. Пасть заглатывает ветки, и там, в недрах машины, с них срываются коробочки. Они непрерывным потоком высыпаются из трубы, торчащей из комбайна, в грузовик, ползущий рядом. Коробочки изломаны, нежный хлопок смешан с их темными осколками, листьями, веточками. Путешествуя по железным недрам машины, он запачкался, потерял свою белизну.

После уборки хлопок-сырец попадал в хлопкоочистительные машины, они отделяли хлопковое волокно от остатков коробочек, хлопкового пуха, семян. Впрочем, слышал я, что хлопок, убранный комбайнами, даже и очищенный, оставался второсортным. А что можно ска-

зять о качестве уборки, если чуть ли не все население Узбекистана исправляло огрехи «голубых кораблей», убирало после них хлопок второй раз! Страдало производство, ухудшалось образование – никого это не волновало.

Кстати, эта громоздкая техника довольно часто ломалась, может, и потому, что водители сплошь да рядом были плохие. А уж чинить и вовсе не умели, да и деталей для починки постоянно не хватало. Во многих колхозах искалеченные «голубые корабли» так и ржавели годами посреди поля.

Немудрено, что в некоторых хозяйствах, где были толковые руководители, предпочитали убирать хлопок по старинке, вручную. Такая хлопковая страда была долгожданным временем для колхозников: за уборку вручную хорошо платили. Узбекские семьи, чаще всего многодетные, обычно выходили на поле всем домом, от мала до велика. Они быстро и сноровисто вынимали хлопок из коробочек, не срывая их с кустов. И всем от этого была только польза. Колхозники неплохо подрабатывали, хлопок получался высококачественный, не надо было посылать на поля горожан для вторичной уборки. Но таких колхозов было мало. Почему? Не знаю, я никогда не был специалистом по экономике. Могу только сказать, что в Советском Союзе она всегда была убыточной и эта убыточность росла год от года...

* * *

У ожидающего нас пустого хермана грудой лежали белые фартуки. Мы подвязали их верхним концом на талии, а нижним – на шее так, чтобы получился большой мешок.

– Ну, в позицию, братва! – докуривая сигарету, скомандовал наш староста Круглов. – Эй, Длинный, гляди, не сломайся, – добавил он, смеясь.

Что правда, то правда: длинному Тельтевскому собирать хлопок будет труднее всех. Но кому из нас легко?

...Иду по канавке между двумя рядами хлопчатника (канавки эти сделаны для летнего полива). Хлопок я должен собирать с обоих рядов. Верхушки кустов – пониже моего пояса. Руки непрерывно работают: левая притягивает поближе веточку с коробочкой хлопка, правая кладет в мешок белый ватный комочек, вытянутый из предыдущей коробочки, потом кидается за новой добычей. Вытягивать хлопок нетрудно. Но вот поза, «позиция»... Мало того, что иду, непрерывно наклоняюсь – куст надо обождать сверху донизу, к тому же все время приходится поворачиваться то влево, то вправо. Спина начала ныть довольно скоро, через час уже кажется, что поясница просто отнимается. Я то и дело выпрямляюсь, потягиваюсь... Какое, оказывается, блаженство – ходить прямо! Но долго не постоишь: за день надо собрать пятьдесят килограммов хлопка. Пятьдесят! Эти чертовы ватные комочки совершенно невесомы. Кладешь, кладешь их в мешок – он вон как уже раздулся, а весу будто и вовсе не прибавляется.

Я высыпаю в канавку, чтобы не тащить лишнего, то, что успел собрать, и снова наклоняюсь к кусту. Так резко, что носом задеваю за клочок хлопка. Щекотно, хочется чихнуть, но, потерев нос, я удерживаюсь. Ох, неужели опять? – думаю я. Только бы не это!

* * *

«Это» случилось не так давно, во время той же, богатой на происшествия, поездки на яблоки. Я вошел в сад, полный приятных ожиданий. Сейчас будем лазать по деревьям... Конечно же, я поражу и девчат, и парней своей ловкостью. Еще бы – я все детство, все свои летние каникулы, провел в саду деда Ёсхаима! Вряд ли есть у кого такой богатый опыт. И яблок, естественно, я успею насобирать больше, чем другие. Норма – пять ящиков до обеда... Пустяки! Мне и десять – нипочем!

В таком прекрасном настроении я полез с ведром на самую верхушку самой высокой яблони. Так было приятно срывать с веток твердые, прохладные яблоки и кидать их в ведро! Оно уже почти наполнилось, когда я вдруг чихнул. Потом – еще раз. Тут же – в третий... В четвертый... И пошло!

Поначалу со всех ближайших ко мне яблонь доносилось веселое «Будь здоров!». Через несколько минут на мои громкие «а-ап-чхи-и!» отвечали уже только смехом и остротами. Нос воспалился, из него текло. Усевшись на ветке, я основательно высморкался. Не помогло. Не успел я дотянуться до следующего яблока, как снова начал чихать. Отчаянно, неудержимо... Тут я, наконец, сообразил: это аллергия. Вот беда какая – у меня аллергия на яблоки! Ни в дедушкином саду, ни в Чирчике не было у меня ничего похожего на аллергию, к тому же еще и на фрукты. Только и делали мы с Юркой, что лазали по деревьям – правда, не по яблоням, это строго запрещалось, с них мы яблоки просто сбивали. Но ведь, сбив, подбирали и ели, сколько хотели. А здесь – на тебе!

Почему-то мне было ужасно досадно и даже стыдно. Думал, что буду самым спортивным, а оказался чем-то вроде клоуна. Я начал как-то глупо суетиться: сначала переменил дерево, потом, подобрав с земли бельевую прищепку, зажал себе ноздри. Ни то ни другое нисколько не помогло. Я сдался и, чувствуя себя слабым, больным и несчастным, уселся отдохнуть под яблоней. Под той, под самой высокой...

В тот день дали мне другую работу: подносить ящики к грузовику, который приезжал за яблоками. Через пару дней полегчало: нос перестал изображать из себя водопроводный кран, глаза не слезились. Аллергия оказалась временной. Но теперь я уже залезал на дерево с некоторой опаской и не мечтал стать героем дня.

* * *

Вспомнив эту грустную историю, я даже приостановился на минуту. Еще и еще потянул носом, на всякий случай понюхал веточку хлопчатника... Нет, на этот раз все было в порядке. Ну, вперед!

Когда приновишься, работать становится легче. Прошел еще час, за ним другой – и я вдруг почувствовал: руки мои уже запомнили, как надо двигаться, пальцы перестали быть неловкими, они вытягиваются и извиваются, вроде щупальцев осьминога, чтобы ухватить какой-нибудь повисший между веточками клочок хлопка. Глаза научились охватывать весь куст, они руководят руками, командуют: «направо... налево... вниз... вглубь...». И все это происходит как бы само собой, я в этом вроде бы и не участвую, я даже расслабился и не напрягаюсь, как в начале. «Второе дыхание» – подумал я с гордостью. Но к полудню усталость снова стала накапливаться. Да и пора было тащить к херману то, что я успел насобирать до обеда. Перед тем, как сложить в мешок хлопок, кучками разложенный по канавке, я присел передохнуть. Осеннее солнце было в зените, и здесь, на открытом поле, припекало почти как летом. Я снял с головы платок – почти все мы повязали какие-нибудь косынки, чтоб макушку не напекло, – вытер вспотевшее лицо, оглядел расцарапанные руки. Это первая половина первого дня – подумал я печально. Что же будет через неделю?

Отсюда, со стороны, я видел все наше поле. По нему медленно двигались согнутые фигурки, кто ближе, кто подальше, кто совсем далеко впереди. Можно было не сомневаться: ушли вперед только узбекские ребята! Они с детства приучены к полевым работам, для них дневная норма – пятьдесят килограммов – ручей перейти, как в наших краях говорится.

– Во вкалывают! – Рядом со мной плюхнулся Лёнька Школьник. Достал из кармана флягу с водой, отхлебнул, протянул мне. – Погляди, сколько тащит... Разве за такой угнаться?

Мимо нас шла к херману девушка-узбечка в длинном и ярком национальном платье. На нее, действительно, стоило поглядеть. Таких в те годы снимали в кинохрониках и показывали

по телевизору. На голове она несла большой тюк хлопка, несла удивительно легко, с какой-то особой грацией. Сколько же этот тюк весил? Как смогла она собрать столько хлопка всего за три часа? Тут я и вспомнил пословицу: «как ручей перейти»...

* * *

К пяти вечера все мы снова потащили свои тюки к херману. Один из его бортов был откинут, на платформе стоял кто-то из студентов и вытряхивал мешки. А рядом, у весов, где столпилось много народа, физкультурник Николай Артёмович, широко расставив ноги, записывал в тетрадку сколько «весят» наши успехи. Мои были не слишком-то весомы: я набрал за день около сорока килограммов. Лёнька чуть побольше. Зато студентка по имени Зухра (не с нашего факультета) только сейчас притащила тридцать три, а за день собрала шестьдесят восемь...

– Отстаем, физики, – пробурчал Николай. – Подтягиваться надо!

Мы с Лёнькой подошли к херману, как раз когда вытряхивали мешок Длинного. Лёнька толкнул меня локтем:

– Слышал?

Да, и я услышал какой-то странный стук, когда содержимое мешка посыпалось в херман. Мягкий хлопок таких звуков не издает.

– Я видел, видел, он с дороги камни подбирал, – захихикал Лёнька. – Это мы с тобой дураки. Ну, уж завтра... Просят физфак подтянуться – мы и подтянемся!

Глава 5. Рабы и плантаторы

Я сидел на холмике неподалеку от барака и глядел, как покачиваются под ветром тополя. Их макушки склонялись то плавно, то порывисто, потом медленно выпрямлялись. Все вместе... Вот пробегает по ним серебристо-зеленая волна. Вот они застыли... Снова дрогнули... А что будет сейчас?

Ведь это же танец, думал я. Деревья танцуют... Может, они вовсе не деревья, а какие-то таинственные зеленые существа. Такие большие, такие гибкие, стройные... И, наверно, очень добрые. Они напоминают балерин, только их танец – волшебный. И оркестр волшебный. Музыка – шелест листвы, дирижер – ветер...

Я глядел и глядел на тополя, голова моя покруживалась, и мне было хорошо. Отошла усталость, и даже голод вроде бы не так терзал.

Вчера после приезда мы перекусили кто чем смог – то есть тем, что прихватили из дома. Колхоз и не подумал нас накормить. Сегодня утром мы получили скудный завтрак. Не помню, что мы пожевали наспех днем, во время перерыва, вероятно, это были остатки домашних бутербродов, но голода, конечно, не утолили. А к вечеру он стал невыносимым.

«Ну уж сейчас поем!» – думал я, возвращаясь с поля и жадно принюхиваясь к запахам, доносящимся от барака. У дальнего его конца было что-то вроде полевой кухни: навес, под которым на низкой кирпичной печке стояли два больших котла. Пар поднимался над котлами, извещая нас, что сейчас мы, наконец, будем... Обедать? Ужинать? Эх, какая разница! Пахло едой! И от этого запаха кружилась голова.

Кое-как умывшись, я бросился к нарам за мисками и ложкой (посуду мы привезли с собой) и побежал к кухне, где уже толпились более расторопные едоки. Над котлами возвышался повар, парень с узбекского потока по имени Мирза. Распаренный, сосредоточенный, он хватал то половник, то шумовку и щедрой рукой наливал в протянутые миски суп, накладывал макароны. Кто-то из узбекских ребят, тут же попробовав суп, с довольной улыбкой что-то крикнул Мирзе и одобрительно помотал головой. Что было сказано, я не понял: к стыду своему, я так и не научился говорить по-узбекски (кстати, как и большинство русскоговорящей молодежи). Но понятно было, что парень похвалил повара.

Столовой возле барака не было, ели мы на своих нарах. Только я на них взобрался, как Тельтевский протянул мне стопочку: «Пьем! За нас, за стахановцев!». Он и Круглов позаботились о спиртном еще в Ташкенте. «Стахановская» стопочка обожгла мой голодный пищевод, я быстро отхлебнул супца из миски и... Меня так и передёрнуло. Да это просто помой! Я услышал, как Лёнька Школьник громко сплюнул – прямо в свою миску. Поглядел на Эрудита – он совсем прищурил свои узкие корейские глаза, его губы от отвращения растянулись дугой краями вниз. Отставив суп, я взялся за макароны, но и они были не лучше: слипшийся, подгорелый комок...

– Вы что, на курорте? – Ехидно спросил Нурлан.

– Армейской похлебки они не пробовали, – хохотнул мой тезка Круглов. – Неженки! Ешьте, глотайте, другого не ждите! – И он поднял над головой свои пустые миски...

Оба они, и Валера, и Нурлан, как видно, к таким похлебкам привыкли: Валера служил в армии, а Нурлан – во флоте. Я с грустью подумал, что за один-то день армейский опыт мне, пожалуй, не приобрести. Может, я и вправду привереда? Вон ведь и узбекские ребята хвалили ужин и ели за обе щеки эту ужасную похлебку, эти подгоревшие, липкие обрубки...

Напившись чаю с лепешкой, я вышел из барака и уселся на холмике, где меня немножко утешили танцующие тополя. Да, они были хороши, но есть хотелось все сильнее, до тошноты. К тому же солнце вскоре зашло, начало темнеть и ветер стал неприятным, холодным. Я поплелся

к бараку, жалея, что выкинул все из мисок и почти у дверей столкнулся с Носовым и Лёнькой Школьником.

– Постой-ка, – остановил меня Лёнька. – Знаешь, чего наши командиры лопали на ужин?

«Командиры», то есть преподаватели, питались в своей комнате, за перегородкой. Что они ели, я понятия не имел.

– Плов! Свежий плов! – злобно сообщил Лёнька. – Во гады, а? Похлебку пробовал? Мясом и не пахло!

– Кто не работает, тот ест, – усмехнулся Сашка, выпуская из рта облако дыма: он, как всегда, курил. – Короче говоря, мясо имеется... Догадываешься, где? – и Сашка кивнул головой в сторону сарайчика, стоявшего вблизи барака. Догадаться было нетрудно. Конечно же, сарайчик был кладовкой, продовольственным складом. Понял я и еще кое-что: мои друзья ведут этот разговор не зря, некий план уже возник в их головах.

Сашка тут же подтвердил это.

– Короче говоря, ты с нами или как? – спросил он, затапывая окурок.

Я пожал плечами: неужели, мол, не с вами?

Еще немного пошептавшись, мы вошли в барак.

– «За-а-ачем поля хлопковые сня-а-тся?

Разве ма-ало нам резерва-а-аций...»

Развалившись на нарах, мы подпеваем Лёньке Когану, которой на гитаре исполняет песню американских черных рабов, разумеется – в русском переводе. Не знаю уж, где он ее услышал, но нам сейчас эта песня – ну, просто в самый раз! Будто про нас сложена. Ведь и у нас перед глазами до сих пор, даже наяву, мелькают серо-белые кусты, и наши спины ноют, как у черных рабов, у которых...

«На все-ех одна-а-а беда-а,
Бьет кнутом по спине-е страда-а-а...».

А еще к тому же жрать охота. Ну, разве мы не рабы? Разве проклятое колхозное начальство лучше плантаторов? Нам до того себя жалко, что, кажется, на спинах у нас вот-вот появятся рубцы от ударов кнута...

– Эй, Валер, где твоя посуда? – Сергей Морозов выливает в мою стопку все, что осталось в бутылке. – Последняя! – Со вздохом говорит он. – Ну, давай...

Чокаемся, выпиваем.

С нашей верхотуры виден почти весь барак. Он залит ослепительным светом. Он весь в движении – от нар к нарам перебегают парни и девчонки, кто взбирается наверх, кто спрыгивает. Говор, веселые выкрики, узбекская и русская речь вперемешку, смех. Веселятся и в комнате «командиров» – хоть и закрыта к ним дверь, но у нашего физрука такой мощный голос, что хохот его слышит весь барак.

– Во где бухаловка-то! – с завистью говорит Круглов, поднося к глазам пустую бутылку «Столичной»: а вдруг хоть что-то осталось. Увы – в бутылке ни капли... – Ну, ладно, приступим. – Вздыхает Круглов. – Давай, Длинный, замешивай!

Пока я размышляю, что бы это могло означать, Тельтевский достает из-под подушки зубную пасту и – р-раз! – привычным движением выдавливает тюбик в кружку. Вода тоже оказалась под рукой.

Ага! Вот оно что! Я уже наслышан, что зубная паста с водичкой – совсем не плохой, по мнению заядлых выпивох, коктейльчик, если, конечно, нет чего покрепче.

Кружка пошла по рукам, но выпили только Тельтевский и Круглов. Даже Серега Павлов поморщился и отстранил кружку:

– Нет уж, сами пейте эту микстуру!

Боксер выпить любил, но придерживался определенных рамок: заменителей алкоголя не употреблял...

* * *

Пока наша компания, выпивая, мрачно размышляла о своей рабской доле, в бараке началась вечеринка: ребята-узбеки решили отметить первый рабочий день. Загремела музыка. Музыканты стояли рядком у стены в дальнем конце барака. Их было трое – один с дойрой, другой с рубабом, третий – еще с чем-то, но грохотали они так, будто в оркестре было человек десять. Особенно старался дойрист. Улыбаясь до ушей, он бешено барабанил по дойре, она прямо-таки плясала в его руках. Моталась взад-вперед, будто дирижируя концертом, и голова дойриста, аж тибетейка съехала набок. Парень работал с наслаждением: еще бы, ведь утром, на побудке, он не мог так разыграться...

Почти все перебрались поближе к музыкантам, нижние нары на той половине барака были забиты до отказа, желающие потанцевать образовали полукруг около оркестра.

«Неужели кто-то еще может танцевать после этого чертова хлопка?» – подумал я. Мне и с нар-то своих слезать было лень. А «на сцену» уже вышла первая танцорка. Это была та самая девушка, которую мы со Школьником видели на поле. Она и тогда, с тяжелым тюком хлопка, показалась мне грациозной, но сейчас! Как плавно и неторопливо шла она по кругу, то пританцовывая, то кружась, как она пощелкивала пальцами в такт шажкам, как поднимались ее руки, как склонялась головка! «Какой там хлопок! – думал я, с восторгом глядя на нее. – Может, он мне приснился? Неужели эту красотку из «Тысячи и одной ночи» – вон какие на ней шаровары, какое шелковое платье, как красиво заплетены эти бесчисленные черные косички – я видел сегодня с тюком на голове? Не может быть!»

– Узнаешь? – толкнул меня кулаком в спину Школьник. – Во дает!

А танцующих становилось все больше. Может, они танцевали и не так красиво, как Зульфия, но все плясали от души и никто не выглядел усталым.

Поначалу танцевали только узбекские студенты. Потом замелькали среди них и ребята из русских групп. Вот, обняв друг друга за плечи, кружатся четыре наших девчонки. Вот присоединились к ним трое преподавателей... К этому времени музыка, смех, визг, хлопанье в ладоши слились под невысокой крышей барака в такую веселую какофонию, что в ушах звенело. Наши песни под Лёнькину гитару показались бы сейчас тихим и нежным мурлыканьем.

* * *

Ночью мне приснился Короткий Проезд. Я сладко сплю на топчане под урючиной, мне хорошо, хорошо... А Юрке не спится. Чего он хочет от меня? Зачем толкает в бок? Опять кидать в Шефа урюком? Нет, нет, я спать буду, спать...

– Юабов, эй! Пора!

Луч фонарика скользнул по моему лицу и сразу погас. Сашка Носов нетерпеливо тряс меня за плечо. – Идешь ты или нет?

Ночь как на зло выдалась светлая: полная луна самодовольно сияла среди безоблачного неба. Будто специально для того вылезла, чтобы нас осветить! Что, кстати, было довольно опасно. Хотя давно миновала полночь, это вовсе не означало, что все студенты и преподаватели мирно посапывают на своих нарах, особенно после такой веселой вечеринки. Наверно, немало

нашлось любителей прогуляться в обнимку по окрестностям. Круглова, например, когда мы уходили, не было на нарах. Значит, не было и Ольги Сандлер... А кого еще?

Мы с Лёнькой Школьников боязливо крались вдоль стенки барака, стараясь просто-таки вжаться в нее: какая-никакая, а всё же тень. Бесстрашный Носов, покуривая, шел по открытому месту... Прогуливался.

До кладовки было метров сто, если не меньше, но мне каждый метр казался километром. Дошли, наконец. На дверях – удача – не замок, а просто щеколда. Мы очень осторожно, чуть приподняв, чтобы не скрипнула, открыли дверь и Сашка зажег фонарик.

– Да-а-а, – прошептал он. – Не жирно, а?

Что верно, то верно: кладовочка выглядела убого. Никаких тебе полок, заставленных банками, коробками и пакетами, никаких холодильников. У щелястых стен валялись два-три мешка с картошкой, пара ящиков с какими-то крупами и макаронами, на двух столбах, подпиравших потолок в середине сарайчика, висели длинные связки лука. Что-то еще, а что – непонятно, было горками навалено на столах возле стен и прикрыто рваными тряпками. Лёнька направил фонарик на одну из горок и... Что такое? Показалось? Я схватил его за руку:

– Гляди!

Нет, не показалось. Тряпка шевелилась да еще как! Она вспучилась вверх, потом стала приподниматься вниз и из-под нее во все стороны прыснули маленькие существа. Полевые мыши! Даже при слабом свете фонарика ошибиться было невозможно. Ругнувшись, Носов швырнул в них одну туфлю, потом другую и мы бросились к столу.

– Сволочи! – просипел Сашка. Относилось это не к мышам. Под тряпкой, сваленные грудой, лежали буханки хлеба, пересыпанные крошками. Буханки были такие дырявые, что напоминали скорее куски швейцарского сыра.

– Вот чем нас кормят! – Я тоже ругнулся. Просто необходимо было облегчить душу. В эту минуту мне казалось, что ни куска колхозного хлеба я больше уже не проглочу.

– Так... Ну а здесь что?

Школьник осветил другой стол, мы сдернули тряпку – под ней было мясо. Что-то вроде коровьей ноги.

– Ага! Наконец-то! Ну, это уже похоже на шашлык... Свети, Лёнька! – и Сашка, вытащив из кармана складной ножик, принялся за работу. Он энергично отрезал кусок за куском и кидал мясо в целлофановый пакет – я держал его открытым возле Сашкиных рук. Но мне-то уже и мяса не хотелось. Мыши его, несомненно, загадили... Нет, кажется, мыши – вегетарианцы... Ну, все равно, неизвестно, какая дрянь в нем могла завестись под этой рваниной, без холодильника, – думал я, брезгливо. Но помалкивал.

– Ну, хватит... – Сашка критически оглядел похудевшую ногу. – Кажется, не очень заметно... Пошли!

Два тяжелых целлофановых мешка, каждый – килограмма по два весом, мы завернули в свои куртки. В барак возвращались точно так же, как в кладовку шли, только с еще большим страхом, я по крайней мере: ведь один из пакетов был у меня под мышкой. А Сашка – он нёс второй пакет – без всякого страха, в открытую, дымя сигаретой.

В бараке было темно и тихо, все вроде спали. Стараясь не шуметь, мы взобрались наверх, засунули свою добычу поглубже в спальники. Я улегся, но какое-то время был бодрым и возбужденным. Вспоминались все подробности нашего ночного приключения. Потом я почувствовал, что «вырубаюсь», глаза начали слипаться. Еще бы – ведь до побудки оставалось всего ничего.

«Они, небось, тоже крали жратву... У плантаторов...» – это было последнее, что промелькнуло у меня в голове.

Глава 6. Министр с удачной фамилией

– Ах, чтоб он сдох, зараза! Да пошел он на... – Тут Сашка Носов неприлично выругался. Мы захохотали. Неприличное слово было частью фамилии того самого человека, которого Сашка покрыл. Звали его Худабердыевым, и был он не кем-нибудь, а министром сельского хозяйства Узбекистана. Неприличные слова мы произносили достаточно часто и по любому поводу. Но в этот день у нас были особые причины ругать министра и издеваться над его фамилией.

* * *

Уже наступил декабрь, на хлопке мы были второй месяц – в бараке на косяке двери ежедневно делались зарубки, и теперь их было тридцать три. С каждым днем погода становилась все хуже и случались такие дождливые дни, что нас даже не гоняли на хлопок. В бараке мы проводили время не так уж плохо, пели под гитару, играли в шахматы. Но зачем, спрашивается, торчать нам в бараке, чего мы ждем, когда на поле собирать нечего, да и дожди льют? Ведь идет учебный год, уже и до сессии не так далеко... Однако об отъезде не было и речи. Мало того: домой не отпускали даже заболевших. В середине ноября у одной первокурсницы случился сердечный приступ. Ее отвезли в какую-то местную больницу, подлечили немного и... снова привезли в барак. Долечится, мол, на хлопке. Таков был приказ «сверху». Возмущались даже преподаватели, особенно физрук. Кстати, вскоре и с ним самим произошла похожая история.

Мы только вернулись с поля и умывались перед ужином, как на нас налетел запыхавшийся Эрудит. Дышал он, как тот древний грек-марафонец.

– Скорее... на поле... Артемыча... переехало! – пропыхтел он.

Ни о чем не спрашивая, ринулись мы на дальнее поле, где сегодня работали. Но не пробежали и полдороги, как повстречался нам трактор с прицепом. Лицо у тракториста было испуганное, растерянное. На прицепе лежал бледный, стонущий Артемыч, которого какой-то студент придерживал за плечи. Оказывается, этот самый тракторист, приехавший сменить херманы, двинул трактор назад и сбил Артемыча. Слава богу, что херманы, стоявшие в прицепе, были пока еще пусты, слава богу, что задние колеса прицепа не грудь переехали бедному мужику и не голову раскололи, а прошлись по бедру и ягодице. Эти части тела у спортсмена Артемыча были благодаря тренировкам достаточно хорошо развиты. Но больно ему было так, что на каждой кочке, когда прицеп потряхивало, бедный Николай протяжно охал. Когда на другой день (только на другой!) его доставили в сельскую больницу, рентген переломов не показал – и Артемыча вернули в барак. Долечиваться, – как ту первокурсницу. Не стану описывать, как он ругался.

Не стоит перечислять и более мелкие происшествия, всякие там насморки, простуды, ангины. Но в тот день, о котором я сейчас пишу, любой из нас мог бы заработать даже и воспаление легких...

* * *

Еще накануне вечером мы узнали, что нас посетит министр: он совершает поездку по хлопковым полям республики, лично проверяя, как завершается уборка. «На бронетранспортере приедет, в кирзовых сапогах», – сообщил нам физрук. В бараке поднялся хохот: «на бронетранспортере... В кирзовых сапогах»... Еще бы: проселочные дороги асфальтом даже для

министра не покроют. А дороги так развезло, что на обычной машине не проедешь, застрянешь. И нарядные ботиночки оставишь в грязи.

– Не мог, что ли, этот... (тут Лёнька с удовольствием произнес по слогам фамилию министра, особенно выделив первый слог) явиться к нам на месяц пораньше?

– А к чему бы это? – ехидно осведомился Эрудит. – Под дождичком самое время вдохновлять массы на подвиги! И учти: чем дождь сильнее, тем усерднее этот (тут Эрудит тоже со вкусом повторил замечательную фамилию) будет нас вдохновлять... А что на полях пусто, с бронетранспортера не видно!

Мы стояли, сбившись в кучку, на краю поля. День был хмурый, холодный. Дождь то стихал, то безжалостно сек наши лица тяжелыми, какими-то даже колючими каплями. Поверх шапок мы натянули на головы куски целлофановых мешков, но брюки превратились в холодные компрессы, даже ватники намокли. Северный ветер, налетая порывами, пронизывал до костей. Наверно, если бы мы работали, нагибались к веткам хлопчатника, было бы теплее, но собирать-то было уже почти нечего. С голых веток почерневших кустов лишь кое-где свисали мокрые сосульки – все, что осталось от белых ватных комочков, придававших унылым полям хоть какую-то живописность. Уже несколько дней нас выводили почти за километр от барака на участки, где хоть что-то оставалось, собирать эти жалкие клочки хлопка. Мы подбирали и клочки, лежащие на земле, втоптаные в грязь – это называлось «чисткой грядок». Трудолюбивые узбеки и те ворчали: «тут даже на еду не заработаешь»... Что правда, то правда. У нас вычитали с грошовой, сдельной получки за те помои, которые именовались едой. Сейчас и вычитать не с чего было.

...Мы стояли, сбившись в кучку, ругались последними словами, переделывали по-всякому фамилию проклятого министра, который все не ехал да не ехал, хлопали себя по плечам и по бедрам, чтобы хоть немного согреться. Мы уже и «чисткой грядок» не в состоянии были заниматься. Преподаватели замерзли и злились, вероятно, не меньше, чем мы. Так что на нас они почти не обращали внимания и похаживали где-то в сторонке, нетерпеливо поглядывая на часы.

– О-ох, Хуй-да-бер-р... туды-его! – прорычал Валера Круглов, раскачиваясь то вперед, то назад. Его давно уже мучила поясница. Но унывать Валера не любил. Он улыбнулся, сощурил глаза, вытянул вперед и вверх правую руку с устремленной к небу ладонью и, картавя, громко произнес:

– Товагищи!

Лица наши повеселели, мы придвинулись к старосте. Валера замечательно имитировал вождя мирового пролетариата и иногда устраивал нам целые спектакли. Сейчас это было как нельзя более кстати. Стоя в знакомой всем позе Ленина, Валера продекламировал его резким, картавым голосом экспромт собственного сочинения: «Пустые г-гядки, одна лишь г-гязь вокруг, но собиайте-ка, гебятки! В хегманы что-нибудь втолкнут!»

Похлопали, поохотали... А Худабердыева все не было. День казался бесконечным, жрать хотелось неимоверно.

– Эх-х, шашлычку бы! – простонал Серега Тельтевский. Он стоял, опираясь на Виталика. Длинный всем прочим положениям предпочитал горизонтальное, в сухую погоду он давно бы полеживал на грядке или хотя бы сидел, развалившись. Но в грязь не присядешь.

– Опомнись, какие шашлыки! Где ты их видел? Про тот, что ли, вспомнил? – засмеялся Виталик, отталкивая Серегу. – Отвались!

Тот, единственный за всю поездку, шашлык мы ели на следующий день после лихого ограбления кладовки. День этот часов до двенадцати проходил, как обычно, потом наша компания стала незаметно линять, покидать ряды сборщиков хлопка. По одному, пригнувшись, перебегали мы через пустое поле. За ним была небольшая рощица, за рощей – овраг. Туда мы и устремились... Укрывшись в овраге, мы вытащили свои припасы, кое-какую посуду, ножи. В

рощице набрали дров, нарезали ветки-шампура, на гладком пеньке разделали мясо, лук. Впрочем, этим занимался лично Эрудит, никого больше к такому ответственному делу не подпуская. Тельтевский готовил для желающих изысканный напиток: чуть-чуть разбавленный тройной одеколон. Вскоре в овраге запахло не хуже, чем в любимом нашем парке Кирова.

Ох, и наелись мы тогда! Даже оставили немного для девчат, которых не рискнули пригласить в овраг: мало ли что, а вдруг бы засыпались!

Но все обошлось благополучно. Правда, исчезновение здорового куска мяса было замечено: на дверях кладовки появился здоровущий замок. По этой причине тот шашлык и остался единственным.

Воспоминания еще сильнее разожгли аппетит, голод стал невыносимым. А тут еще и холод... Пришлось срочно закурить.

Некурящих в нашей группе было только двое: Эрудит и я. На хлопке Рудик сдался первым. Я держался, позволяя себе побаловаться затяжкой только в редких случаях. На этот раз я, не колеблясь, протянул руку к пачке, протянутой Школьником, и вытащил сигарету. Лёнька чиркнул спичкой, учтиво поднес огонь. Я затянулся, закашлялся, сразу чуть закружилась голова, но я затянулся еще раз, и еще, и еще... По телу начало разливаться тепло.

– Порядок! – сказал Лёнька. – Человеком становишься! – и выпустил изо рта, одно за другим, несколько колец дыма.

Если бы существовала такая профессия – «преподаватель курения», Лёню Школьника следовало бы сделать профессором. Каждым своим движением, каждой черточкой лица Лёня артистично показывал окружающим, какое наслаждение испытывает настоящий курильщик. И у зрителей неудержимо росло желание испытать такое же.

Закурив, Лёня зажимал сигарету у фильтра между указательным и средним пальцем, а остальные распускал веером. Сделав короткую затяжку, отводил руку в сторону, чуть приподнимал голову и... Тут уже просто невозможно было оторваться от его лица! Какое блаженство, какой абсолютный покой выражались на нем! Глаза прикрыты, длинные светлые ресницы слегка подрагивают, кажется, будто и глаза под опущенными веками движутся то вправо, то влево, пытаюсь передать, как хорошо их владельцу. Из ноздрей неторопливо струится дымок, легким облачком прикрывая рассыпавшиеся возле носа веснушки. Но эти струйки – только для начала. Верхом Лёнькиного мастерства было умение пускать кольца дыма. Когда он закуривал, все мы ждали именно этого представления. Вот он вытягивает губы – и из них выплывают кольца. Одно... Второе... Два, соединенных вместе краями... Три, соединенных вместе! Одни поднимаются прямо, другие кружатся в воздухе, будто в вальсе... Думаете, это все? О нет! Лёнька то вытягивает губы трубочкой, то растягивает их, обнажая зубы, то скашивает рот в сторону – а пальцем при этом постукивает по щеке – и всякий раз изо рта вылетают кольца иной формы, принимая самые причудливые очертания. Плывут одно за другим, кружатся хороводом... Ну, просто колдун какой-то наш Школьник! Попади он к дикарям, стал бы у них шаманом.

* * *

...Притоптывая, пританцовывая, пряча между ладонями сигареты от дождя, курим мы на краю хлопкового поля. Сигареты у нас дрянные – «Прима». В Ташкенте мы ни за что не стали бы курить это «бесфильтровое дерьмо», как выражается Валера Круглов. А сейчас, что поделать, он их не только курит, как и все мы, но даже напевает одну из своих песенок, посвященных куренью:

Оп-па, шишки!
Кайфуют ребятишки!

Семечки, карандаши,
Сделай мне косяк наши!

Очевидно, надо пояснить, что «наша» это не что иное, как анаша, наркотик, с древних времен распространенный в странах Востока. Я знал о ней еще в раннем детстве и даже видел, как старшеклассники из моего дома в Чирчике сушили свои «косяки» на крыше. А поближе мне пришлось познакомиться с анашой недавно, во время яблочной страды. Наутро после той тревожной ночи, когда мы готовились к нападению местных парней, произошла встреча с ними по пути в сад – и вражда неожиданно прекратилась. Парни оказались вполне миролюбивыми, пригласили посидеть вечером у костра. По кругу пошла «трубка мира». Потом один из местных вытащил из кармана пакетик с листочками дикой конопли и стал сворачивать сигарету. Вот тогда-то Круглов, радостно потеряв руки, с минуту побормотал что-то – и выдал свой экспромт про «нашу». Конечно, он сразу завоевал уважение местных курильщиков. Сигарета пошла по кругу, песенку запели хором. Отказались курить анашу только трое: Эрудит, Лёня и я. Но надышались мы в тот вечер дурманящего дыма не меньше, чем от затяжек, и вместе с другими получили свой кайф.

* * *

Часам к трем дня до нас дошла новость: министр не приедет. Мы поорали: «ну и... с ним, с Худабердыевым!» – и помчались в барак греться.

В Ташкент мы приехали лишь десятого декабря. Уже выпали первые снега... Сорок дней и ночей провели мы на хлопке. И что удивительно, все вернулись живыми и здоровыми оттуда, где человеческая жизнь не стоила, не весила ничего. Ценился и взвешивался только хлопок.

Глава 7. Дядя Абраша уходит навсегда

– Опа, не шевелитесь... Потерпите, тётим! Немно-ожечко... Еще совсе-ем, со-овсем немно-о-жечко!

Бабушка Лиза, откинув голову на спинку стула и положив руки на колени, сидит на веранде, почти у самого окна. Рот её широко открыт, она тихонько постанывает. Глаза так расширены, что напоминают два дополнительных рта. Возле бабушки, низко склонившись, приблизив чернокудрую голову почти к самому её лицу, стоит человек в белом халате. Это Хайко Малаков, зубной врач. «Опа» и «тётим» (и то и другое означает «тётя») он называет бабушку Лизу из уважения: Хайко не племянник, вообще не родственник. До недавнего времени он был одним из близких соседей: семья Малаковых жила через двор, в детстве я нередко бывал у них. Теперь Малаковы переехали, но бабушка не забыла, что Хайко – зубной врач.

Можно представить себе чуть ли не любого доктора на дому у больного, но только не зубного врача! Как обойтись, например, без специального зубо врачебного кресла, в котором вы то сидите, то почти лежите (смотря что удобнее сейчас доктору), без бормашины, без множества хитроумных приспособлений, с помощью которых эти жестокие люди пытаются пациентов! Словом, если бы меня еще вчера спросили, можно ли вызвать зубного врача домой, – я рассмеялся бы. И был бы глубоко неправ! Уж мне-то следовало помнить, что на свете существуют женщины с характером бабушки Лизы. Каким-то образом ей всегда удавалось пользоваться услугами родственников, соседей и близких знакомых – особенно если это касалось людей сравнительно молодых. Хайко считался молодым – ему было около сорока. Вот и стоит он теперь, согнувшись в три погибели, над низеньким бабушкиным стулом, пытаюсь правильно наложить щипцы на зуб, который надо удалить. Именно с этой целью Хайко и вызван: бабушка не пожелала переносить такие муки вдали от дома, тем более что предстояло вырвать не один зуб, а три.

С двумя Хайко уже справился, сейчас он трудился над третьим.

Я стоял, прислонясь к косяку двери, и наблюдал за этим зрелищем с огромным интересом.

Дело, как я уже сказал, происходило на террасе. Дед Ёсхаим с бабушкой Лизой совсем недавно переселились в квартиру, из которой семья дяди Миши уехала после пожара. Квартиру отремонтировали, она и удобнее, и уютнее, и много светлее квартиры стариков. На застекленной веранде, например, так светло, что Хайко смог обойтись без лампы. Я, стоя у двери, видел каждую бабушкину морщину...

Меня переполняло сочувствие к бабушке – к сожалению, не потому, что я был таким уж добросердечным внуком, а потому, что я как бы видел себя на её месте. Уже давно побаливал мой запломбированный, но запущенный зуб. Ясно было, что его уже не спасти, придется выдернуть... Брр-р! Меня передернуло.

* * *

Зубы у меня стали побаливать лет с девяти. С тех пор мне довольно часто приходилось слышать отвратительный, идущий из собственного рта, звук сверла бормашины. Но началась моя ненависть к врачам, которые копаются в чужих ртах, еще раньше, когда мне вырезали гланды.

Сначала все было неплохо: положили в больницу на обследование, медсестра уверяла, что больно не будет – посижу с открытым ртом минут сорок-пятьдесят – вот и все! Главное – рот не закрывать. А за это ещё и мороженое дадут. Мороженое – это хорошо, подумал я. Но пятьдесят минут не закрывать рот будет трудновато. Наверное, стоит потренироваться. Решив

так, я все время – читал ли, смотрел ли телевизор или просто лежал – старался держать рот открытым. Конечно же, мальчишки в отделении это заметили и начали издеваться надо мной. То и дело я слышал дурацкие шуточки типа: «Эй, тебе муха в рот влетела!» – но терпел. Посмотрим, думал я, кому будет легче во время операции!

Как только меня в операционной посадили на кресло, я широко, до пределов возможного, открыл рот. «Вот молодец», – похвалила меня милая дама в белом халате. А поблизости сидел один из насмешников, которого только что прооперировали. Ну и вид у него был! Лицо – бледное, изнуренное, он чуть не плакал, почему-то непрерывно то открывал, то закрывал рот и как-то странно вытягивал шею. «Вот видишь, гусь нетренированный», – подумал я со злорадством. Но тут милая дама, она же – хирург, принялась за меня, и я позабыл обо всем на свете. Глотку мою кололи, смазывали чем-то вонючим... Я чувствовал, как в мои миндалины что-то вливается, и они разбухают, разбухают... «Хлоп-хлоп!» – это дама пощелкала щипцами и защемила ими гланды... Еще одни щипцы – о, какая тяжесть, мое горло не выдержит, щипцы его прорвут! В тот же момент передо мной появилась рука с ножницами (а, может, со скальпелем? Не помню...) В глазах у меня потемнело, я взмахнул руками, дрыгнул обеими ногами – и вытолкнул из-под докторицы стул!

Однажды, когда дед Ёсхаим молился, я отодвинул стул, стоявший за его спиной, – чтобы не мешал. Но через минуту дед решил присесть... Он меня простил, конечно. Ведь я не был таким озорником, как Юрка, и дед поверил в мои добрые намерения. Врачиха была погрузнее деда, к тому же ей предстояло тут же продолжить операцию. Простила ли она меня – не знаю, но рука её не дрогнула, я остался без гланд. Память об операции была такой сильной, что с тех пор, открывая рот в кабинете врача, даже зубного, я испытывал страх и злобу. Может, поэтому было еще больнее?

* * *

– Э-э-а! – вскрикнула бабушка.

– Все, опа, все! Это был последний! – весело сообщил Хайко и, повертев перед бабушкиным лицом щипцами, в которых торчал зуб, продолговатый и рогатый, положил его на марлечку, рядом с двумя другими. Тут же на столе, покрытом белой скатеркой, красовались сверкающие серебристые тарелочки и кастрюлечки с разными щипцами, шприцами, пинцетами, лежали ватные тампоны и прочие необходимые вещи. Словом, работал Хайко чисто, красиво...

– Ла-лай, ла-ла-ла-лай! – негромким, но звонким голосом запел Хайко, закладывая пинцетом очередной тампон в окровавленный бабушкин рот. – Не больно, тётим? Совсем не больно, правда?

– Бощи... Бэ...офадзови! – Прошепелявила бабушка, раскрыв ладони и поднимая взор к небесам.

– Немножко посидите – и можно будет выплюнуть тампоны. – Хайко, продолжая напевать, стал складывать инструменты в чемоданчик.

Никто из нас не удивлялся, что Хайко напевает, даже вырывая пациенту зуб. Вся семья Малаковых отличалась любовью к пению, старший брат Хайко, Эзра, вообще был профессиональным певцом, имел звание заслуженного артиста Узбекистана. Славился он и как мастер шашмакома. Дядя Авнер, мамин брат, любил его слушать и ценил очень высоко.

Хайко ушел. Бабушка попыталась встать, но охнула, откинувшись на спинку стула, прикрыла глаза.

– ВалерИК... Голова что-то кружится. Помогите прилечь.

Я отвел бабушку в комнату, где стоял диван, – эту просторную комнату мы называли залом – помог ей улечься, накрыл пуховым платком и присел возле: а вдруг ей, подумал я, понадобится помощь. Но бабушка очень скоро задремала и даже начала похрапывать. А на

меня почему-то – может, потому, что я оказался один на один со своими мыслями в этой с детства знакомой мне комнате, нахлынули воспоминания.

Вот в этом самом зале обычно справляли Новый год. Всей семьей за большим столом. Но мы, дети, в комнате не засиживались, наш праздник был во дворе! Чуть ли не весь декабрь мы с Юркой бегали по магазинам в поисках бенгальских огней, фейерверков, хлопушек. Запасы наши множились и множились. И в Новогодние, не успевали часы пробить двенадцать раз – о, каким треском и шипеньем, какими гулками взрывами перекликался с ними Старый Двор! Сколько разноцветных огней взлетало в небо! Как они фыркали, как дымили! А разноцветный дождь конфетти! А бенгальские огни! Высоко подняв брызжащие искрами палочки, мы, дети, кругами бегали по двору и глядели на звездно-огненное кольцо, плывущее над нашими головами. А под ногами у нас скрипел снег, а изо рта, вместе с нашими восторженными воплями, вырывался пар, а Джек, вторя нам, звонко лаял, высунув из будки испуганную морду... Вот это было веселье!

Да, все та же квартира... Странно – как будто и не горела. Сам я пожара не видел. Говорили – что-то там у соседей случилось с трубой, возможно, сажа загорелась. Интересно, что соседи не пострадали – пламя из их трубы перекинулось на наш дом. Занялась спальня, где в это время была Валя с детьми, они едва спаслись.

После отъезда Мишиной семьи ремонт продолжался больше года, зато теперь квартира еще уютнее, чем прежде. Старики правильно сделали, что сюда переселились: окна смотрят на юг, солнечно, светло. Даже бабушкина мебель здесь преобразилась – видно, как красива резьба на старинных комоде и буфете. Каждый узор, каждая извилинка – все это ожило, задышало. Я заметил, что и старики радуются перемене, чувствуют себя здесь лучше. Мне кажется, они теперь меньше ворчат друг на друга. Недавно я увидел новый вариант старой сценки, хорошо мне знакомой: дед, уходя на работу, вернулся за чем-то в дом, протопал в спальню, не вытерев ног, и, конечно, наследил... Я даже положил ложку (мы с бабушкой завтракали), ожидая обычного бабушкиного визгливого вопля: «я, старый человек, должна...» Но нет, бабушка только укоризненно-насмешливо помотала головой.

Сколько же лет они вместе, размышлял я, глядя на спящую бабушку. Поженились, кажется, в 1925-м. Ух ты! Это больше пятидесяти! Молодые ведь были тогда... Этой зимой бабушке исполнилось семьдесят четыре. А сколько деду? Кажется, восемьдесят один, а может, и больше. Как ни странно, ни сам дед, ни близкие его родственники не помнят, сколько ему лет. Неужели же его день рождения никогда не справляли? Даже в детстве?

Громко хлопнула дверь. Я вышел на террасу. Там стоял Робик и хмуро глядел себе под ноги.

* * *

Робик был превосходным сыном. Я бы сказал – образцовым. Почти все заботы о родителях – начиная с закупок продовольствия на базаре и кончая уходом за домом и садом – он взял на себя. По этой причине Робик каждый день появлялся у стариков после работы, а нередко и в обеденный перерыв. Очень было любопытно наблюдать, как Шеф заходит во двор или в дом. У калитки приостановится, глаза его, как какой-то автоматический наблюдательный прибор, начинают быстро-быстро пробегать по саду, по стенам дома, по крышам. В дом войдет – беглым, но внимательным взглядом обведет всю комнату. Все должно быть в порядке! И если увидит, что от шиферной крыши откололся кусочек, что покосилась дверь кладовой или упала подпорка у виноградника, тут же примется исправлять. Работник был отличный, в руках все так и горело. Он даже зимнюю баню когда-то сам пристроил к дому.

Самой забавной мне казалась сценка, неизменно происходившая после того, как Робик «делал базар» (у нас так называли рыночные закупки). Бабушка внимательно осматривала все

продукты, особенно дотошно и придирчиво – мясо. Покупалось, конечно, только кошерное – старики строго этого придерживались. Причем у одного и того же продавца, которого бабушка знала много лет. И все равно почти каждый раз бабушка оставалась недовольна.

– Жулик! Аферист! – восклицала она, брезгливо (ведь мясо еще не вымыто), двумя пальцами приподнимая его над свертком. – Опять одни кости подсунул!

Время от времени она даже посылала Робика на рынок менять мясо, но, жалея любимого сына, делала это довольно редко.

* * *

И вот сейчас Робик стоит на террасе, сам на себя не похожий, растерянный, печальный. Не оглядывается по сторонам хозяйственным взором, не торопится зайти в комнату. Подняв наконец голову, он посмотрел мне в глаза и прошептал:

– Дядя Абраша умер...

Сказав это, Робик с испугом взглянул через мое плечо – не появилась ли в дверях бабушка. Но бабушка мирно спала в зале.

– Тихо... Пусть поспит еще... Пусть отдохнет, – прошептал Робик. Ему ведь предстояло тяжелое дело: подготовить мать к горестному известию о смерти её брата.

Умер дядя Абраша... Я вроде бы не очень близко был с ним связан, мы и виделись не так уж часто. Но с раннего детства я полюбил этого большого, широкоплечего, улыбчивого и удивительно доброго человека. Когда-то, когда мы с Юркой были еще малышами, он подарил нам голубой самокат – большой, тяжелый, металлический. Это был замечательный подарок! Мы без конца колесили на самокате по всему двору, в наших играх он изображал то боевую машину, то мотоцикл, то самолет, то подводную лодку. В дедовом дворе он простоял много лет. И, хотя к старым вещам привыкаешь, перестаешь их замечать, этот тяжелый самокат почему-то всегда напоминал мне о дяде Абраше – тоже тяжеловатом, плотно скроенном. Думать о дяде всегда было приятно, я радовался каждой встрече с ним.

И вот его больше нет... Что-то оборвалось в душе. Мне стало очень грустно.

К сожалению, о дяде Абраше я могу рассказать совсем немного: мало знаю о нем. А жаль, очень жаль. Судя по всему, Абрам Симхаев был человеком незаурядным. Во время войны на его долю – а был он тогда совсем молод – выпали невероятные испытания. Он попал в плен к немцам подо Львовом и спасся от смерти только потому, что сумел выдать себя за узбека. Сбежал, добрался до Кировоградской области – то есть скрываясь и прячась, прошел чуть ли не пол-Украины. Почти полгода прятался в землянке за огородом сердобольной украинской крестьянки Маши. Снова был выловлен... Снова бежал. Оказался в каком-то хлеву возле самого немецкого штаба. Оттуда его вызволила другая сердобольная украинка-дойрка. Еще несколько раз попадался – и снова убегал! Но прорваться через линию фронта, добраться до своих, ему так и не удалось... Когда в последний раз Абрама поймали, он, как мне рассказывала его дочь Лия, приговорен был к повешению. Перед этим его до полусмерти избили прикладами, а повесить то ли не успели, то ли передумали: мол, и так вот-вот помрет. В таком виде его, брошенного бежавшими немцами, нашли бойцы одной из частей наступающей советской армии. Самое поразительное, что после госпиталя дядю Абрашу не отправили в лагерь, как немецкого шпиона, что делали почти со всеми, кто побывал в плену у гитлеровцев. Видно, помогло то, что нашли полумертвым. Дядя вернулся в строй, с боями дошел до Германии, побывал в Варшаве, в Праге. Домой воротился с орденами и медалями...

До сих пор удивляюсь и огорчаюсь – почему же я, любитель всяческих приключений, оказался таким нелюбопытным и ни о чем не расспрашивал дядю Абрашу? Ведь его фронтовая эпопея удивительна даже для тех суровых лет. Я мог бы знать её во всех подробностях, а не знаю почти ничего! И еще я удивляюсь тому, что человек, перенесший так много страхов,

боли, страданий, сумел остаться жизнерадостным, добрым, обаятельным. Его отзывчивость, щедрость, готовность помочь известны были всей родне. Думаю, что и многим в Ташкенте: дядя Абраша работал таксистом, и кого он только не знал в городе, и кто только не знал его!

* * *

– Как это случилось, Робик? – прошептал я. Мне, конечно, рассказывали, что дядя Абраша тяжело болен. У него давно уже (может, и после жестоких военных испытаний и побоев) начались неприятности со щитовидкой. Я знал, что он поехал в Москву на операцию. Но насколько это серьезно, я не понимал, да и не думал об этом.

– Не знаю! – выдохнул Робик. – Кажется, во время операции. А может, после...

В дверях террасы появилась бабушка. Она всегда спала чутко и слышала, наверно, наш шепот.

– А, Она! – Робик всегда здоровался с матерью на бухари. – Ну, как дела? Хайко был?

Бедный Робик пытался тянуть время и долго расспрашивал бабушку, как Хайко вырывал ей зубы... Наконец, он решился:

– Знаете, мама... Дядя в Москве, на операции...

– Знаю, конечно, – ответила бабушка. И тут же встревожилась:

– Есть новости? Уже оперировали, да?

– Да... То есть... Оперировали, но... Осложнения, ему плохо... – Робик не смотрел на мать и потирал рукой щеку.

Я, как и прежде, стоял в проеме двери и глядел на бабушку. Меня снова переполняло сострадание, теперь уже без примеси эгоизма. Я видел, что бабушкино лицо становится все тревожнее, глаза наполняются испугом. Наверно, за долгие годы жизни её не раз готовили вот так к печальным известиям, и сама эта «подготовка» уже была равносильна сообщению.

– Что с ним? А? Говори!

У Робика искривились губы, он прижал руку к глазам.

– Плохо ему... Очень...

– Робик, скажи правду... Он умер? Умер... Абраша!

И бабушка зарыдала.

* * *

Хоронили дядю Абрашу морозным зимним утром. Целая толпа собралась у подъезда, в котором жили Симхаевы. В толпе мелькали знакомые лица, но много было людей, которых я не знал. Говорили они о дяде с удивительной теплотой. Об ушедших всегда говорят хорошо, иначе не принято, но думаю, что на этот раз не было ни притворства, ни преувеличений. У гроба плакала вдова дяди, Тамара, стояли, обнявшись, три его дочери – Лия, Зоя и Ольга. Бабушку вывели из дома за руки. На этот раз ей действительно было трудно идти, горе её было неподдельным. Не знаю, думала ли тогда об этом бабушка Лиза, но она, старшая сестра, осталась одна на этом свете, пережив двух младших сестер и брата...

Глава 8. Мечты, мечты, мечты...

Я давно заметил: как только свернешь с улицы на Короткий Проезд, шаги начинают звучать иначе. Наверно потому, что в узком пространстве, огражденном глиняными заборами и стенами домов, все звуки отражает эхо. И шаги, и голоса – все здесь гулкое и какое-то таинственное... Несколько шагов сделаешь – «трум-м, трум-м, трум-м» – и незаметно настраиваешься на особый лад. Всякие скучные мысли – о несданном зачете, например, вылетают из головы. Их место стремительно заполняют приятные образы. Ты переносишься в другой мир. В какой захочешь.

«Трум-м, трум-м...» И вот исчезает знакомый переулок, по которому я приближаюсь к воротам своего дома. Через широкую площадь я шагаю к воротам великолепного дворца. Ворота громадные, деревянные, резные. До того тяжелые, что открывают их четыре здоровенных стражника, по два с каждой стороны... Иду я быстро, широким шагом. Свита еле поспевает за мной. Площадь усыпана цветами, толпы приветствуют меня радостными кликами, звучат фанфары (это я громко насвистываю «Марш фараонов» Верди)...

Теперь вы все поняли? Да-да, я – фараон! Но почему же я иду, как простой смертный, а не возлежу на носилках, овеваемый опахалами? Или не еду в колеснице? Ну-у... Не знаю... Ведь со звуком шагов все и связано. К тому же мне просто приятно вот так победно шагать!

Впрочем, сегодня я не фараон, а космонавт. По гулкому туннелю мой звездолет устремляется в беспредельные звездные пространства. Я не спускаю глаз с приборов, с экранов. Мало ли что может произойти – метеоритная атака, например. Или встреча с каким-нибудь загадочным инопланетным кораблем... Но я полон решимости и отваги...

Этот «полет мечты» не так случаен, как первый. У нас в Ташкенте, да и вообще по всей стране, особенно популярна французская рок-группа «Космос». Она замечательно работает на электроинструментах и синтезаторах. Мелодии, в отличие от большинства других рок-мелодий, простые и негромкие, как бы доносятся откуда-то издалека, из пространств вселенной, подхватывают тебя, возносят, ты ощущаешь себя в космосе. Я это и от других слышал, и сам испытал. Особенно меня всегда волновала мелодия «Волшебный полет».

Вот и сейчас я насвистываю ее, «паря» по переулку прикрыв глаза. Насвистываю, лечу и «приземляюсь» уже у самых своих ворот.

* * *

Мечты... Кто возьмется объяснить, что это такое? Они могут тебя охватить неожиданно, можно в них уйти и по собственному желанию. Но в любом случае они таятся где-то в мозгу, терпеливо ожидая той минуты, когда им удастся завладеть тобой или когда ты их вызовешь. Они – часть твоего существования... Так было со мной, как, наверно, и со многими подростками.

Я с детства запоем читал Фенимора Купера, Жюль Верна, Дефо, перечитывал любимые книги по многу раз, знал их почти наизусть. Я был уже студентом, а «Таинственный остров», «Затерянный мир», «Робинзон Крузо» оставались моим любимым чтением... Возможно, я был несколько инфантильным и с опозданием шагнул на ту ступень, на которой моих ровесников начинают интересовать шедевры отечественной и мировой литературы, «взрослая» классика. Может быть, не знаю. Но если и так, я нисколько не жалею об этом! Зато я обладал счастливым даром: надолго сохранил детскую фантазию, мог в любой миг переселиться в один из удивительных миров, открытых для меня книгами.

Я никому не говорил об этом. Не хотелось. Вероятно, без всяких размышлений я чувствовал, что друзья не поймут меня, что прошло то время, когда можно было вместе с ними

превращать мечту в игру. Теперь это был мой собственный, потаенный мир. И уходил я в него чуть ли не каждый день!

Иногда, конечно, я мечтал о вещах более реальных, чем открытие новых планет или затерянных миров. О том, например, как, став физиком, сделаю в своей лаборатории какое-то поразительное открытие. Или как женюсь на Ильгизе Шаймордановой, моей однокурснице, и увезу ее... опять же, на необитаемый остров. Но это так, между прочим. А мои любимые мечты – я настолько ими проникся, что не мог жить без них. Мало того, у меня даже было «расписание»: утром, по дороге в институт (почему-то именно в тот момент, как я подойду к дому, где жили старики, торговавшие семечками), начнутся мои приключения на необитаемом острове. На том, где жил Робинзон Крузо. А когда буду возвращаться домой – ну, тогда скорее всего потянет в космос...

* * *

«Приземлившись» у своих ворот, я легко, без всякого там промежуточного состояния, вернулся к реальности. Первым ее признаком было густое «Му-у-у!». Это мычала корова соседа-узбека. Её влажный черный нос я увидел в щель между досками забора. Стоило – возле забора, корова хорошо меня знает, и как только слышит мои шаги, мой свист (свистеть я очень люблю), непременно здоровается со мной.

– Здравствуй, здравствуй! – отвечаю я и глажу черный мокрый нос.

Но меня уже услышал и еще кое-кто. Из-за наших ворот раздается звонкий лай. Это Джек, дворовый пес... Нет, не тот Джек, рядом с которым прошло все наше с Юркой детство. Старого Джека уже нет, бедняги, и о нем мне очень грустно вспоминать.

Когда после пожара Юркина семья покинула дом, бабушка Лиза заявила, что с большим псом ей одной никак не справиться, его надо кормить да кормить, а где ей теперь взять столько остатков еды? Словом, Джека пристроили к родственникам тети Вали, а вместо него взяли другую собачонку, поменьше. Но старый друг, как говорится, лучше новых двух. Я очень огорчился: приезжаешь, а во дворе ни Юрки, ни Джека. Как-то мы с Юркой даже пошли к Валиным родственникам поглядеть на Джека, и я расстроился еще больше. Выглядел Джек прекрасно, потолстел, был ухожен, даже лоснился. Но что с ним стало, когда мы пришли! Как он прыгал на нас, обнимал, облизывал, визжал от радости! И как отчаянно лаял вслед, когда мы уходили!

– Ну, ничего, ему ведь здесь хорошо живется. Да и камнями никто в него не кидает, – утешали мы себя. – Это его просто встреча взволновала.

Но мы ошибались. Однажды Джек сбежал от новых хозяев и пропал. В старый двор почему-то не вернулся, никто его так больше и не видел.

Новую собачку тоже за чем-то называли Джеком. Песик был симпатичный, но я, глядя на него, вспоминал другого.

* * *

– Кушать будешь?

Бабушка Лиза неизменно встречала меня этими словами. Могла бы и не спрашивать: конечно, буду! Но уж такая у бабушки привычка. Что правда, то правда: голодным я в этом доме никогда не ходил, и еда была вкусная. Бабушка знала, что я не придиричив и съем, что подадут на стол, но неизменно докладывала мне, что сегодня сварено и как нелегко ей было готовить. Разумеется, из-за «спундилёза». Я обедаю, а она, усевшись напротив на диванчике, докладывает:

– Как схватил с утра, так и не отпускал! – Бабушка говорит о своем «спундилёзе», как о каком-то сказочном чудовище, с которым она сражалась весь день. – Хочу встать, не могу... Потом встала, разогнуться не могу... Еле обед сготовила!

Обедать и сокрушаться, скольких бабушкиных страданий заложено в приготовление этой еды, было бы довольно неприятно, но я научился почти не слушать её. Привык. Да и как не привыкнуть? Я слышал её жалобы и в раннем детстве, и школьником, приезжая на каникулы, и теперь слушаю ежедневно, став студентом. Ведь живу я здесь, у стариков, и только по выходным уезжаю к родителям в Чирчик.

Бабушкино повествование прерывает телефонный звонок. Кто звонит – и гадать не нужно: конечно, Тамара, тетка моя. Звонит она матери каждодневно, иногда по несколько раз. Нередко, возвращаясь из института, я еще со двора слышу, как бабушка разговаривает по телефону с дочерью. Впечатление такое, будто они беседуют, сидя в одной комнате, потому что слышны голоса обеих – и зычный голос Тамары звучит при этом гораздо громче, чем голос бабушки. Тамара вообще не умеет разговаривать тихо или хотя бы нормально.

Бабушка торопливо семенит в спальню, где стоит телефон. Теперь я ее не вижу, но мне известно каждое ее движение. Схватив трубку, она одновременно сгибается, чтобы присесть на стул и в этой позе, прикрыв глаза, на мгновение замирает. Только после этого со страдальческим «ох!» бабушка плюхается на стул, на котором лежит мягкая подушечка. А в это время из трубки, которую бабушка держит примерно в полуметре от уха, уже разносится по всей квартире голос Тамары:

– Алло! Ты слышишь меня? Что ты там делаешь, а?

– И-и-и! – умоляюще произносит бабушка и трясет мизинцем свободной руки в ухе. – Не кричи! Прощу, не кричи!

«Не кричи»... Если бы Тамара кричала, трубку пришлось бы повесить на другом конце комнаты, как висели когда-то тарелки репродукторов.

Тамара, как может, снижает громкость (ненадолго). Бабушка, открыв, наконец, глаза, усаживается поудобнее на подушечке и нежно произносит:

– А, Томо-о-о-р, ту чи?

Говоря о своих сыновьях или беседуя с ними, бабушка Лиза произносит их имена буднично и без особых чувств. «Авнер, Миша, Робик». Одинаково что по-русски, что по-бухарски. Но имя дочери она произносит мягко, любовно. И по-восточному протяжно: «Томо-о-о-р»...

Говоря с любимой дочерью, бабушка становилась особенно оживленной. Обычно беседа их начиналась короткой фразой: «Какие новости?» Иначе говоря, предложением посплетничать. В этом деле тетка моя была мастером высшей категории и могла тарахтеть без умолку чуть ли не часами. Бабушка слушала с удовольствием. Порой, очевидно, вспомнив какую-нибудь свеженькую сплетню, она расширяла глаза, которые сквозь очки казались неестественно большими, начинала беспокойно ерзать на стуле и свободной рукой поправлять платок на голове. Так и видно было, что ей не терпится внести свою лепту в обмен «новостями». Если же в разговоре наступала пауза, это означало, что собеседницы собираются с мыслями, пытаются припомнить, о чем еще не рассказали друг другу. Иногда происходили «накладки», и бабушка деликатно напоминала дочери: «Ты про это уже рассказывала, Томо-о-р».

Покончив с «новостями», Тамара принималась давать советы. Поучать она тоже очень любила. Если случалось, что трубку брал я, то прежде, чем подходила бабушка, я получал от тетки множество полезных рекомендаций. «Бабушке помогай... Не забудь мусор вынести... Одевайся потеплее, на улице холодно». И тому подобное.

* * *

Занимаюсь за небольшим столиком у окна со знаменитой тюлевой занавеской, а бабушка лежит на кровати, отдыхает. Не спит, глаза открыты. О чем думает? Вспоминает прошлое? Вряд ли. Ведь если спросишь ее, о чем-то давнем, рассказывает скупно и неохотно. Небось сейчас «новости» старается припомнить, которыми можно будет потом обменяться с Тamarой.

От кровати доносится похрапывание. Заснула... Убедившись в этом, я отодвинул учебник и вынул из портфеля полиэтиленовый пакет. Не обычный, из продуктового магазина, а «фирменный», то есть заграничный. На нем изображена английская машина «Роллс-Ройс», очень дорогая и очень красивая. Открыв пакет, я осторожно, стараясь не помять, вытащил его содержимое.

«Фирменной» мы в те годы называли любую вещь, сделанную за границей. И каждая из них – будь это пластинка, авторучка, рубашка или даже заколка для волос – считалась добротной, изящной, элегантной... Словом, особенной. Иметь «фирму» хотелось всем ребятам, которых я знал. Какой-нибудь, пусть самый дешевенький, фирменный предмет был почти у каждого из нас. О дорогих вещах мечтали, о них частенько говорили, счастливым владельцам тайно или явно завидовали.

Так вот, сейчас передо мной лежала не какая-нибудь там пластинка или авторучка. Передо мной лежали джинсы фирмы «Вранглер». Одна из самых желанных и дорогих фирменных вещей, о которой я давно мечтал.

* * *

Какие только мечты не уживаются спокойно рядом друг с другом в мальчишеской голове! Иногда до того несхожие... Робинзон Крузо, не кручинясь, ходил в одежде из звериных шкур и с увлечением обживал свой остров. Космонавт с презрением относился к любой одежде, кроме скафандра, и все его помыслы были о том, как бы оставить свои следы «на пыльных тропинках далеких планет». Превращаясь в этих героев, я был таким же. Но когда «вылезал» из них, у меня возникали мечты гораздо менее романтичные, хотя тоже волнующие. Самой сильной из них и самой волнующей были джинсы. Принимая во внимание их цвет, можно сказать, что это была моя голубая мечта. И она мирно соседствовала с высокими и благородными помыслами.

Вот я иду – высокий, худощавый, черные волнистые волосы, выразительные карие глаза, приятная улыбка чуть-чуть приподнимает уголки губ... Словом, «комсомолец, спортсмен и просто красавец», как шутили у нас в институте... Ну, не спортсмен, но не всем же быть спортсменами! Все равно обаятельный. Ни на кого не глядя, я иду себе, широко шагаю. Но и не глядя вижу, как на меня смотрят, не спуская глаз, девчонки. Ильгиза тоже... Заметила, наконец, подняла свои длинные ресницы! И глаза совсем не такие строгие, как тогда, во время танца, когда я хотел чуть покрепче ее обнять... Ах, Ильгиза, Ильгиза!... А я иду себе, шагаю и при каждом моем шаге «вшик, вшик, вшик» – трутся друг о друга штанины моих джинсов. О, это ощущение плотно облегающей ноги ткани, этот замечательный, ни с чем не сравнимый звук! Кстати, не только в звуке дело. В тех местах, где штанины трутся друг о друга, а также на задку, на коленях, джинсовая материя постепенно чуть-чуть стирается, светлеет. И эта потертость, эта разница в цвете, считается особым шиком. Вот почему я с таким удовольствием слушаю и ощущаю, как шуршат мои штанины...

Увы, только в мечтах! В реальной жизни шуршали и вшикали джинсы других парней. Мечтать о них я мог сколько угодно, но стоили джинсы двести рублей. О покупке не могло быть и речи.

В те годы джинсы были мечтой любого советского парня, любой девушки. В Советском Союзе, где было очень много хлопка, джинсовую материю почему-то не производили и джинсов не шили. Впрочем, когда же это советская легкая промышленность следила за модой и вкусами потребителей? Джинсы к нам попадали только зарубежные, нелегальными путями, и потому были невероятно дорогие! В наших краях только самые состоятельные ребята были владельцами джинсов, а остальные с завистью поглядывали на чужие задницы в желанных штанах, на кожаные лейблы с выжженными названиями фирмы: «Леви Страус», «Вранглер», «Ли»...

В нашей группе позволить себе такую роскошь могла только Ирка Бровман.

Вот она появляется в коридоре, где мы, парни, стоим и треплемся. На ней белая, почти прозрачная блузка, сквозь которую видны и голые плечи, и грудки, упрятанные в импортный кружевной бюстгалтер (такие блузки мы называли «телевизором»). Ляжки же и попка плотно обтянуты джинсами.

– Леви Страус, – бормочет Лёнька Коган. – Новенькие...

– Смотрятся, – Тамбовцев мотает головой, – даже на такой заднице!

Действительно, в импортных джинсах Иркин толстый зад, над которым мы обычно посмеивались, выглядит довольно соблазнительно.

Мечтал я о джинсах с тех пор, как попал в институт. Но сегодня произошло событие, когда моя мечта и суровая реальность встретились лицом к лицу. Сегодня было 7 апреля, то есть день моего рождения. Кое-кто в группе знал об этом, меня поздравляли. Добрый Толик Тамбовцев протянул мне плоский бумажный пакетик:

– Лично сам и лично для тебя... – Слово «лично» Толик очень любил.

– Лично благодарю, – ответил я, с любопытством разворачивая пакетик. В нем была чеканка: Роза на небольшом листе металла.

– Неужели сам? – ахнул я.

– Ага... – Толику приятно было мое восхищение. – Лично... Постой-ка, я тебе еще кое-что покажу. Подарить не смогу, но... – И Толик, щелкнув замочками, открыл свой знаменитый «дипломат». Знаменит он был тем, что вместо институтских учебников и конспектов в нем лежали предметы совсем другого назначения и вида, как то: «фирменные» пластинки, темные очки, жевательная резинка, а из одежды чаще всего джинсы... Я уже, кажется, писал о том, что Толик зарабатывал на жизнь такого рода нелегальной торговлей.

Сердце мое почему-то ёкнуло, когда Толик вытащил из «дипломата» фирменный пакет. Я сразу понял, что в нем.

– «Вранглер», – пояснил Толик. – Моченые... Ношенные, но совсем чуток. Зато на пятьдесят дешевле. Всего, значит, сто пятьдесят... Послушай-ка, может, старик на твой день рождения раскошелится?

Это он говорил о моем отце.

Не поднимая головы, я шупал плотный материал. Джинсы мне очень понравились... «Мочеными» мы называли джинсы, хоть раз постиранные. При этом они могли быть и уже ношенные, и совершенно новые, «моченые» только для большего шика. Делали это деликатнейшим образом, вручную, конечно, а не в стиральной машине. Джинсы следовало замочить в тазике с небольшим количеством порошка и оставить часа на два отмокать. Потом их осторожно терли руками и отполаскивали. Джинсы чуть-чуть линяли, светлели, потертые места на них выделялись посильнее. Вот такие джинсы и принес Толик. Выглядели они отлично.

– Ну, как? – спросил Толик. – Берешь? Послушай-ка, отнеси домой, покажи своим... А там уж как получится.

Я кивнул.

Эти самые джинсы и лежали сейчас передо мной на столике. Я поглаживал их, тоскливо смотрел во двор сквозь тюлевую занавеску и думал, думал... «Сорок – стипендия, двадцать есть в заначке, еще сорок займу у деда до следующей... Да нет, дед не даст!» Я очень ясно

увидел лицо деда. Его густые брови приподнимаются, потом сдвигаются, он смотрит на меня с тревогой: мол, не приболел ли ты, внучек? Еще бы, ведь для деда нет лучше брюк, чем ватные!

Бабушка всхрипнула за моей спиной, я вздрогнул, оглянулся... Попросить, что ли, у нее, когда проснется? Она со мной как-то подороже стала, поласковее. Ведь я здесь живу, к тому же студентом стал. Она это уважает... Скажу ей: «Теперь все носят такие, а у меня нет... Не добавишь ли мне...» Нет, сорок рублей я не попрошу, язык не повернется. Скажу: «Не добавишь ли немного?»

Я вообразил, как бабушка Лиза сквозь очки внимательно разглядывает джинсы, качает головой и бормочет: «Ой, какие дурные штаны... А стоят, наверно, рублей двадцать, а, ВалерИК? Ох, да нет у меня денег таких, ничего нет...» И то правда, думаю я. Ведь бабка каждое утро у деда деньги просит...

Значит, сорок рублей никак не достать. Отпадает. Но даже с ними было бы только сто. А еще пятьдесят где брать? С отцом, конечно, и говорить не стану. Просить у мамы?

Я представил себе, как в субботу приеду в Чирчик. Поцелуи, поздравления. Потом мама отправляется на кухню – ведь гости приглашены на мой день рождения... Тут я и подхожу к ней с фирменным пакетом в руках. Мама вытирает руки о фартук, щупает штанину джинсов, потом, всплеснув руками, поднимает на меня свои прекрасные глаза. В них – полное недоумение.

– Сто пятьдеся-ат? Вот за э-это линиялое старье?! Валера, у тебя же такие хорошие брюки... Совсем новые!

Все понимает мама, но объяснить ей, что такое «моченые» джинсы и почему они стоят сто пятьдесят, совершенно, совершенно невозможно!

Я вздыхаю, кладу джинсы в пакет и прячу в портфель.

Глава 9. Пытаюсь стать спортсменом

– Ну, вперед! – скомандовал Димка-боксер и, чуть пригнувшись, уверенным, пружинистым, довольно быстрым шагом начал подниматься по крутому склону горы. Мы двинулись за ним, стараясь не отставать. И сразу же выяснилось, что это не так-то легко. Совсем нелегко! Своими собственными ногами я ощутил, что гора намного круче, чем казалось, когда мы глядели на нее со стороны. Пришлось идти, пригнувшись. Но не так, как Димка, красиво устремившись торсом вперед, а как-то унижительно, почти утыкаясь носом в склон и хватаясь для устойчивости руками за ближайшие кустики и камни... За спиной у меня пыхтел Эрудит, и по его дыханию можно было догадаться, что Рудику не легче, чем мне. Ридван, правда, обогнал нас и шел почти наравне с Димкой. Так Ридван ведь спортсмен!

* * *

Уже больше недели почти вся наша группа отдыхала в летнем спортивно-оздоровительном лагере «Хумсан», в отрогах Тянь-Шаня, часах в трех-четырех езды от Ташкента. В июне-июле лагерь принимал студентов-спортсменов, в августе – преподавателей. Вы спросите, почему это я оказался в таком избранном обществе? Врать не стану: случайно. Просто повезло.

В нашем институте ежегодно проводились спортивные соревнования между факультетами. Состязались волейболисты, гимнасты, боксеры и прочие, в том числе шахматисты. Шахматы были единственным видом спорта, к которому я имел отношение. Мы с Кимом оба входили в команду, представляющую физфак. Прославиться нам не удалось. Ким, правда, дошел до полуфинала, а я выиграл только две игры из восьми. Но так как наш физфак победил суммарно по всем видам спорта, всех, кто участвовал в соревнованиях и играх, а значит, и нас с Рудиком, наградили бесплатной трехнедельной поездкой в «Хумсан».

Приехали мы сюда в начале июля. Лагерь оказался – что надо! Несколько домиков и палаток на пологом зеленом склоне окружены были горами, горами, горами, плавно, волна за волной, уходящими в бесконечную даль. Будто ничего, кроме гор, больше и не было на планете Земля. Горы были кудрявыми, зелеными. Воздух здесь был до того чист и свеж, что в первые дни мы просто не могли насытиться, хотелось глотать его и глотать, пить его, как ароматный напиток. Горная речушка, быстрая и мелкая, огибала лагерь. Берега ее были усеяны бугристыми каменными глыбами, такими огромными, будто какой-то великан раскидал их здесь, играючи. На этих горячих глыбах так приятно было растянуться, искупавшись в холодной, прозрачной воде. Кстати, речка тоже называлась Хумсан – у нее лагерь и взял свое название. Вокруг домиков, радуя и глаз, и желудок, росли яблони, вишни, персики. Но особенно хороша была небольшая долинка чуть в стороне от лагеря. Тут уж природа сама, без помощи садовода, вырастила и дикие яблони, и грецкие орехи, и гигантский дуб с такой густой и тенистой кроной, что под ней ничего не росло – и мы нередко приходили на этот замечательный стадиончик погонять футбол.

К этому надо добавить, что жизнь в лагере была довольно свободной: зарядка по утрам, занятия в секциях днем, дежурства на кухне – вот, кажется, и все обязанности. А дальше – гуляй, развлекайся. Кто как может и хочет...

Поход в горы и посчитали мы поначалу одним из таких развлечений. Скорее даже, приключением. Альпинистские песни Визбора и Высоцкого, которые мы все распевали под гитару, здесь, в горах, звучали особенно романтично. А тут еще привязался как-то к нам – то есть к Ридвану, Рудику и ко мне третьекурсник Димка, один из факультетских боксеров. «Как, ни одного восхождения? Позор! Вы, парни, какие-то отсталые! Пойдете со мной...»

Кстати, сам Димка стал таким скалолазом вовсе не по своей воле. Тренер гонял его в горы чуть ли не ежедневно. «Замечательная тренировка, лучше не бывает», – говорил тренер. Теперь шла уже вторая неделя нашей жизни в «Хумсане», и Димка даже успел полюбить восхождения.

С такой тренировкой да еще с его-то сильными ногами и жилистой мускулистой спиной, хорошо было шагать да шагать по этому чертову склону! Да еще каким-то, на мой взгляд, странным образом. Я хоть и не был альпинистом, слышал, что в гору ходят зигзагом, серпантинном, удлиняя путь, но уменьшая крутизну подъема. Мы и на большие холмы в Чирчике обычно так лазали. А Димка поднимался почти по прямой, разве что обогнет какой-нибудь выступ скалы или куст... Спросить, почему он ломится прямо, я не решался. Спрошу – и обнаружу свою слабость. Такой уж он человек, ему непременно надо идти «по пути наибольшего сопротивления!» Он и на ринге предпочитает схватки с теми, кто повыше да посильнее его.

Словом, уже минут через десять после начала подъема я понял: зря я пошел с Димкой в горы. Это было так же глупо, как если бы я вышел состязаться с ним на ринге. Раньше я и не представлял себе, что время способно так растягиваться! Я вспотел, болели ноги. А уж спина... Мне нестерпимо хотелось разогнуться, остановиться, сказать, «давайте-ка отдохнем». Но тут я взглянул на часы... Нет, просить сейчас об отдыхе было просто невозможно!

Однако минуточку спустя Рудик, пыхтевший чуть позади, вдруг вскрикнул и выругался, вниз с шумом посыпались камушки, затрещали ветки. Судя по звукам, Ким неудачно поставил ногу и чуть не сорвался вниз... Еще бы, ведь шли мы не в горных ботинках, а в обыкновенных кедах. На осыпях они плохо держали ногу и вообще были слишком легки даже для таких несложных восхождений.

– Эй, вы! Давайте передохнем! – закричал Рудик.

– Не возникай, – отозвался Димка, не оборачиваясь. – Чего еще выдумал, мы только вышли!

Эрудит что-то пробурчал в ответ и снова запыхтел, но очень скоро стал ворчать, не переставая. У меня polegало на душе: не один я оказался «слабаком» и не первым признался в этом. Теперь я уже мог присоединиться к Киму:

– Димка, имей совесть! Мы же в первый раз!

Димка ответил какой-то не очень приличной шуткой насчет первого раза и продолжал ломить вверх... Ридван довольно бодро шагал за ним, время от времени с сочувствием оглядываясь на меня. А солнце пекло все сильнее, и каждый следующий шаг казался уже совершенно непосильным...

Примерно через час, когда мы добрались до какого-то сравнительно пологого местечка, я, вместо того, чтобы выпрямиться, повалился на камни. Не встану ни за что, подумал я. И тут надо мной вдруг раздалось:

– Ну, ладно, парни, перекур! – сжалился Димка.

Но и сжавшись он продолжал нас воспитывать.

– Шахматы – это, конечно, хорошо, – говорил он Киму, отпивая из фляги, – но нельзя же все время штаны за столиком просиживать! Мускулы от этого вообще... того... расслаиваются!

– Зато кое-что другое прибавляется! – огрызнулся Рудик, постукивая себя пальцем по голове. – А сюда влезешь раз-другой, так последние мозги выжарятся!

Димка поморгал белесыми ресницами, раздумывая, обижаться ему или нет.

– Возникаешь ты много, Ким! – вздохнул он.

Я постепенно начал приходить в себя. Здесь, на площадке под выступом скалы, было прохладно, тенисто, поддувал ветерок. А какой вид открывался! Лагерь наш тоже был довольно высоко, но тут... Отсюда лагерь, если бы мы могли его видеть, показался бы лежащим в долине. Но лагерь заслоняла соседняя гора, и только речушка, его огибавшая, то поблескивала внизу на солнце, то пряталась между горами.

– А где-то во-он там – Чорвак. – Ридван протянул руку на запад, туда, где за грядями гор на Чорвакской долине, построена была огромная гидроэлектростанция, снабжавшая энергией чуть ли не весь Узбекистан. Этой электростанцией в республике очень гордились, о ней много писали в газетах. Почему-то время от времени по Ташкенту прокатывался слух, что Чорвакскую плотину могут взорвать диверсанты или даже собираются это сделать, и тогда будет затоплена вся местность вокруг, в том числе и Ташкент, стоящий более чем на сто метров ниже плотины. Говорили, что и получаса для этого достаточно.

Панические слухи, самые разнообразные, распространялись по Ташкенту довольно часто. Чаще всего о диверсиях на предприятиях. Может быть, ощущение тревоги создавало то, что неподалеку была граница с Китаем, где время от времени происходили небольшие конфликты. Но главная причина страхов была, конечно, не в этом...

Вредителями, шпионами, врагами народа, диверсантами людей в Советском Союзе стращали непрерывно. Людям с детства вбивали в голову, что они окружены врагами, внешними и внутренними. Враги – повсюду! Чудовищные репрессии тридцатых годов совершались якобы для борьбы с ними. Но «борьба» не прекращалась и потом. За годы существования советской власти вредителей, диверсантов и шпионов поймали столько, что могло бы показаться, преступником был каждый второй житель страны и неисчислимое количество иностранцев.

Очень точно и смешно написал об этом замечательный писатель Фазиль Искандер. Маленький мальчик, герой одной из его повестей, смотрит бесконечные шпионские кинофильмы. В каждом кишлаке кишат шпионы, и всех их обязательно вылавливают. Ни одному не удастся удрать... Ну, думает мальчик, хоть бы один шпиончик утаился, вот тогда было бы ясно, что он завербует новых вредителей, вызовет по радиации новых шпионов из-за границы... А иначе – откуда они берутся? Словом, шпионские картины казались ему не очень-то правдивыми.

Увы, этот маленький мальчик был умнее и проницательнее миллионов и миллионов своих взрослых соотечественников. История показывает, что запугать и оболванить людей совсем не так уж трудно.

* * *

Мы вышли из лагеря около десяти, а сейчас уже было больше одиннадцати, и бледно-желтый солнечный шар, сливавшийся с белесоватым небом, стоял почти в зените. Полезем дальше, совсем спечемся, уныло думал я, поглядывая на небо. Ноги все еще гудели, ныла спина, я чувствовал слабость, и она разрасталась, разливалась по всему телу при одной только мысли о том, что опять придется ползти вверх практически на четвереньках.

– Ну, братва, по коням! – сказал Димка, бодро поднимаясь и расправляя широкие плечи.

Я поглядел в его веснушчатое красное лицо с обгоревшей переносицей и с решимостью, неожиданной для себя самого, помотал головой:

– Не-е, дружан. Не пойду. Подожду вас здесь, в тенечке, – сказал я как ни в чем не бывало и даже небрежно. А у самого противно ёкнуло внутри – сейчас застыдят, засмеют...

– И я подожду. На пару с Валерой, – сказал Ким и уселся поудобнее, прислонившись спиной к большому камню...

Ну конечно! Я мог бы догадаться, что и Ким не пойдет. Теперь уж мне неважно было, что скажет Димка. Но вот Ридван... Перед Ридваном, близким другом, было стыдно. Поэтому я и не глядел на Ридвана. И вдруг услышал его голос:

– Дим, ты как будешь возвращаться? Этим путем? Когда примерно?

Да, Ридван был настоящим другом. Он оставался – и, конечно, из-за меня, чтобы мне не было стыдно! Он-то мог спокойно взобраться на эту проклятую гору не хуже Димки.

* * *

Ридван был гимнастом. И совсем неплохим. Он записался в гимнастическую секцию с самого начала учебного года и правильно сделал. Ридван был крепким парнем, привыкшим у себя в колхозе к физическому труду. Но все же вскоре после нашего возвращения с хлопка, когда наступила зима, он начал болеть. Дело в том, что общежитие институтское, где ему пришлось поселиться, отапливали зимой отвратительно. Бывало, что вообще не топили. Заходя к Ридвану, я просто в ужас приходил: как можно здесь жить? Кстати, не только из-за холода – мне это общежитие вообще казалось довольно неприятным. По ночам сюда часто просачивались чужие ребята, ломились в комнаты к девочкам, а то и начинали «выяснять отношения» с парнями. Завязывались жестокие драки. Словом, неудобное это было местечко. К тому же еще и холодное. Иногда на улице было теплее, чем в большой (её населяло шесть парней) комнате Ридвана. Стекла на окнах в такие дни затягивала толстая корка льда, а изо рта шел пар. Даже дверка шкафа издавала, открываясь, пронзительный, резкий скрип – так скрипят в лесу в морозные дни сухие деревья... Б-р-р! Когда такое случалось, я, конечно, у Ридвана не засиживался, а, наоборот, старался его вытащить к себе. В дом к старикам, зная бабушкин характер, я его приглашать не мог, ведь я и сам там жил не у себя. Но в Чирчик, куда я в первом семестре уезжал на выходные, звал не раз. Ридван в ответ только головой мотал и невозмутимо говорил: «У нас в колхозе и не такое бывало!» Удивительно был неприветливый парень! И вообще очень хороший. Что мне сразу в нем понравилось – это его простота, доброжелательность, скромность. «Буду сельских детей обучать в школе», – говорил он, как о чем-то уже решённом. Это на первом-то курсе!

Так вот, другие ребята из общежития, увидев, что опять не топят, разбегались кто куда, и Ридван, бывало, ночевал в этом леднике один. «Принимаю перед сном сто граммов – прогревает на всю ночь», – объяснял он мне. Но прогревало не слишком-то хорошо. Ридван несколько раз простужался так сильно, что даже и у него не хватало сил продолжать единоборство с холодом. Больной, с высокой температурой, он уезжал в колхоз, к родителям, и отлеживался там в тепле.

Закончилось бы это «вымораживание», скорее всего, хроническим воспалением легких, но выручила гимнастика.

Ридван занимался гимнастикой увлеченно. В спортзале он просто пропадал, проводил там каждую свободную минуту. Мы виделись постоянно, поэтому я не сразу заметил, как меняется мой друг. Но вот как-то стояли мы с ребятами в институтском вестибюле, и Валерка Круглов окликнул спускавшегося с лестницы Ридвана: «Эй, парень, ты выдохни, выдохни!» Все расхохотались. И тут я, как это иногда бывает, увидел Ридвана словно бы другими глазами. К нам подходил атлет, почти супермен, каких мы видим в кино: под рубашкой перекачиваются бицепсы, грудь колесом. Действительно, кажется, что он вздохнул изо всех сил, выпятил грудь – и не выдыхает. Недаром столько девчонок вокруг него вертится и глазки строят, подумал я с завистью...

Не могу сказать, чтобы я был хилым, но стать спортсменом мне почему-то никак не удалось. Что-то в этом было почти фатальное.

Началось мое невезенье еще в младших классах, на уроках физкультуры. Правда, не сразу. С прыжками и со спортивными играми я справлялся. Бегал довольно хорошо, даже занял второе место в классе. Первым был некий Петька Богатов, которого я безуспешно старался обогнать. И, хотя мне это не удавалось, думаю, что соперничество, подстегивая нас, помогало и ему, и мне. Оба мы улучшали свое время, он – слыша у самого уха мое прерывистое дыхание, я – со злобой глядя в его затылок...

Но вот наступил день, когда нас стали учить лазать по канату. Такому толстому, плетённому, вполне надежному на вид. Ребята, стоявшие передо мной, чуть подпрыгнув, ухватывались за него, подтягивались на руках, упирались в канат ногами и, перебирая, перехватывая руками и ногами, поднимались все выше, выше. Некоторые даже долезали до самого потолка. Но когда настала моя очередь, я понял, что у этого надежного каната есть кое-какие недостатки. Как я ни подпрыгивал, мне не удавалось ухватиться за его нижний конец. Ростом я не дотягивал до остальных ребят потому, что был на год младше всех в классе. Все это знали, конечно, но смеялись надо мной, глядя на мои прыжки под коварным канатом, с таким удовольствием, будто находились в цирке, а я был клоуном. Вспотевший, красный как помидор, я кидал умоляющие взгляды на учительницу Екатерину Ивановну. Что ей стоило на самом деле приподнять меня немного! Но Екатерина Ивановна в ответ только покачивала головой: «Сам. Давай сам». Подпрыгнув изо всех сил, я ухватился, наконец, за канат и повис на нем. Теперь надо было подтягиваться. Но как? Мое тело сразу стало невероятно тяжелым, я висел, раскачиваясь и извиваясь, а ребята хохотали. Я попробовал перехватиться одной рукой повыше – но разжались почему-то обе руки, и я шлепнулся вниз...

В тот день я твердо решил записаться в школьную секцию акробатики, ее как раз только что открыли. Я даже сходил поглядеть, как там ребята пытаются крутить «солнце» на турнике, прыгать через «коня», как высоко и лихо взлетают над батутотом. Очень мне все это понравилось! Но родителей моя акробатическая идея почему-то совершенно не вдохновила. «Чепуха это», – сказал отец. Не помню уже его доводов, скорее всего, он, как тренер-баскетболист, считал акробатику делом легкомысленным и несерьезным. Я был тогда еще вполне послушным ребенком и в секцию акробатики не пошел. А в другую мне не хотелось... Кстати, она вскоре почему-то закрылась.

После этого мое стремление заниматься спортом довольно быстро исчезло. Очевидно, для того чтобы оно возникало, нужны были какие-то особые поводы, а, возможно, и удары по самолюбию, как при борьбе с канатом. Так и получилось, что только через много лет дружба с Ридваном снова пробудила во мне тягу к спорту.

Ридван очень обрадовался и взялся подготовить меня к поступлению в секцию. «Тут нет ничего сложного, – уверял он, – только надо много качаться». Словом «качаться» Ридван обозначал любые физические упражнения. «Много качаться» означало, что упражняться надо непрерывно. Так он и делал: упражнялся в спортзале, в общежитии, на лекциях и в перерывах между ними. Во время лекций Ридван разрабатывал кисти рук эспандером, в перерывах прыгал через прыгалку. Эти нужные вещи всегда лежали в его портфеле.

Под неустанным руководством Ридвана я тоже начал «качаться». Купил себе эспандер и прыгалку. Руки от эспандера, конечно, крепили, но слушать при этом лекции и запоминать объяснения преподавателей стало почему-то гораздо труднее... После занятий шли мы с Ридваном в его «общагу», и он начинал гонять меня. Приседания, стойки на руках, подтягивания на турнике, встроенном в проем двери, отжимания с пола... Ридвану ничего не стоило отжаться несколько десятков раз подряд. Нередко с дополнительной нагрузкой: кто-нибудь из соседей по комнате усаживался ему на спину. Теперь этой нагрузкой – в перерывах между собственными упражнениями – сделался я... Ридвановы соседи, глядя на нас, упражнялись в остроумии.

– Ты почему моё место занял? – горестно вопил очкарик Петя, парень довольно грузный. – Такое было удовольствие покататься на Ридванчике!

– Слишком ты увесистый, вот Ридван и ослаб... Другое дело – тощий Юабов! – хохотали остальные.

А уж когда я принимался делать отжимы, особенно поначалу, насмешкам не было конца. Но мы с Ридваном стойко всё переносили, и тренировки продолжались. Уходил я, еле волоча ноги. А Ридван, похлопывая меня по плечу, неизменно говорил одно и то же: «Сегодня было

лучше... Уже скоро». Это означало, что скоро он сможет привести меня в гимнастическую секцию, и я буду принят.

Но даже Ридван с его дружбой и упорством не смог преодолеть тех фатальных причин, по которым мне не суждено было стать спортсменом. Однажды – действительно довольно скоро после начала наших тренировок – он подошел ко мне очень расстроенный и сообщил:

– Набора больше не будет... Тренер сказал сегодня.

– Вот тебе и скоро! – пробормотал я. И мы, поглядев друг на друга, захохотали.

Поняв, что стать спортсменом мне опять не удалось, я прекратил мучительные тренировки и ограничился шахматами. Что ж, это тоже считается спортом. Вот даже и в «Хумсан» я попал...

* * *

Неплохо устроившись на тенистом уступчике горы, мы часа полтора дожидались возвращения Димки. Но вот раздался шум шагов, посыпались камушки. Мы встретили нашего альпиниста громкими «ура», как покорителя вершин, и градом шуток, полагая, что нападение – лучший способ обороны. Спускаться вниз было гораздо легче, потому что шли мы серпантинном. Димка, конечно, поглядывал на нас с насмешливым сожалением – ну и чёрт с ним! Мы с Кимом были очень довольны, что прервали восхождение. Пусть он сам изнуряет себя спортивными подвигами, а мы вот сэкономили силы для настоящего удовольствия: сегодня вторник, а по вторникам в лагере вечера танцев.

* * *

«Добро пожаловать в гостиницу «Калифорния»,

Вы найдете нас здесь в любое время года...»

По всему лагерю, по всем окрестным горам, отдаваясь эхом, гремит рок-музыка. Старый магнитофон «Лада» хрипит, конечно, ужасно, а колонки усилителя, кажется, вот-вот разлетятся, развалятся, не выдержав силы звуков, но что за беда! Песню «Гостиница Калифорния» никакой хрип испортить не может.

Большая танцплощадка залита светом ярких ламп. Пронзительно звенит соло-гитара, в едином ритме движется, топчется, сгибает колени, покачивает плечами и бедрами толпа студентов. Музыка так завораживает, что поглядишь со стороны – вся толпа словно под гипнозом...

Английская группа «Иглс» прославилась благодаря песне «Гостиница Калифорния», которая стала в этом году классикой рок-н-ролла, облетела весь земной шар. В нашу компанию её принес не кто иной, как Лёнька Коган.

Лёнька не просто поклонник рока, Лёнька отдает ему душу, силы, время. Взять, к примеру, эту самую «Калифорнию». Мало того, что Лёня следит за ростом популярности группы «Иглс», доставая где-то зарубежные музыкальные журналы. Мало того, что раздобыл запись этой песни. Мало того, что разучил её и поет, аккомпанируя себе на гитаре. Мало того, что запомнил английский текст – он перевел его на русский, как и слова множества других песен. Чтобы мы понимали, что поем... Сам-то Лёнька стал понимать английский благодаря увлечению музыкой. Он терпеливо исправляет наше произношение – стыдно, говорит, калечить слова, это уродует песню. Впрочем, и он иногда любит пошутить, немножечко исказив текст, заменив английские слова русскими или узбекскими, похожими по звучанию. В песне «Белладонна», например, тоже одной из наших любимых, есть слова «аут оф рич, аут оф тач», то есть «не достичь, не прикоснуться». Однажды Лёнька был в веселом настроении и заменил

эти слова узбекскими: «арак ич, арак оч». Звучит почти так же, а означает – «водку пей, водку лей»... Ну, мы, конечно, были в восторге.

«Велком ту зе хотэл Калифорния...» – гремит в усилителях, гремит в горах. Подпевают песне все танцоры, подпеваем и мы с Наташей. Но слушаю я сейчас только её голосок.

Моя партнерша, третьекурсница Наташа, очень мне нравится, и я ей, кажется, тоже. У нее тонкая талия, брюки в обтяжку, концы блузки завязаны на животе узлом, у нее каштановые волосы и блестящие карие глаза, словом, «комсомолка, спортсменка и, наконец, просто красавица». С каждым танцем я стараюсь прижаться к ней еще теснее, так, чтобы ее упругая, высокая грудь прикасалась к моей груди. Это... Впрочем, понятно, что я испытываю. Я чувствую дыхание Наташи возле моего уха, касаюсь ее щеки, волос, вдыхаю запах ее духов. Я тайком заглядываю за распахнутый воротник ее рубашки, где колышутся два нежнейших полушария. И тут уж я балдею окончательно. Как говорят у нас, тащусь по-настоящему.

Но вот исполнена последняя песня группы «Иглс». Танцы закончены, Наташа, улыбнувшись мне на прощанье, ушла с девчонками в свою палатку... Эх-х! Какой же я всё-таки балда!

Как-то так получилось, что у меня в лагере «близкие отношения» с девушками ограничивались танцами. У многих не ограничивались. У любого из нас плоть бунтовала именно так, как должна бунтовать у юных, да еще на отдыхе, да еще в горах. Днем влюбленным парочкам было раздолье: и времени много свободного, и укромных уголков сколько угодно. Но как только наступала ночь, за нашим поведением начинали следить строже, чем в монастыре. Сразу после отбоя мальчики должны были находиться в своей огромной, на пятьдесят человек, спальне, а девочки – в своих палатках. Какие-то взрослые парни (вероятно, дежурные, назначенные администрацией) уже не раз и не два проверяли, все ли на месте, пересчитывая нас, как пересчитывают заключенных в тюрьме. Но ведь давно известно, что особенно сладок именно запретный плод. И в лагере, конечно, находились смельчаки, нарушители монастырских правил...

* * *

Сегодня после танцев у нас оставался до отбоя еще целый час, и мы собирались провести его, как обычно – то есть в своей компании.

По хрустящей гравием дорожке идем к своему домику. Девчонки убежали вперед, их смех где-то вдалеке переплетается со звоном цикад. Ночью и смех, и голоса звучат совсем иначе. И особенно это чувствуется в горах. Я почему-то представляю себе, как тихо станет в лагере после отбоя. По горному тихо. Погаснут фонари. Замолкнут цикады. Горы придвинутся еще ближе. Как хорошо было бы сидеть, обняв её, прижав её к себе...

– Эй, очнись! Ты почему не отвечаешь? – и меня по плечу хлопает Валера Круглов.

...Сидим, кто на чем, возле кругловской койки, а на койке – Валера и Лёнька Коган со своими гитарами. Кстати, мой тезка – тоже хороший гитарист, хотя в отличие от Лёньки редко показывает свое мастерство. И поет славно, особенно песни Высоцкого. У Валеры своя манера: без хрипоты, мягко, негромко, душевно. Но Высоцкого понимает, доносит. Когда поет про гибель лошадей, так просто слезы на глаза наворачиваются.

Впрочем, сегодня после танцев нас не тянет на Высоцкого. Мы еще полны роком.

О, Белладонна,
Невер нью тзе пейн...

«Белладонна» – тоже одна из наших любимых песен, ее исполняет группа «Ю. Эф. О.». Это – когда мы слушаем записи. Но сейчас Коган и Круглов исполняют ее на двух гитарах, а мы подпеваем. «Аут оф рич, аут оф тач»... Сегодня ребята в ударе, мы поем всерьез, слов не искажаем... Все, кто сейчас в спальне, подвалили на звуки «Белладонны» к нашей компании,

весь физфак подпевает гитаристам. А они жарят вовсю. Валера временами посматривает на Лёнькины пальцы – он еще не все аккорды этой песни запомнил. Жаль, что гитары у ребят отечественные, то есть никудышные, из фанеры, а не из настоящего дерева. Ведь гитара так же, как и скрипка, инструмент «чувствительный». Звучание ее во многом зависит от того, из каких пород дерева она сделана. Гриф изготавливают из твердых, плотных пород, заднюю стенку – из дерева помягче, лицевую сторону – из еще более мягкого. Инструменты из ценных пород стоят, понятное дело, дорого. А уж если их сработал известный мастер... Все знают, какие бешеные деньги платят скрипачи за инструмент, вышедший из рук настоящего мастера (уж не будем говорить о скрипках Страдивари). Слава мастеров, делающих гитары, не так громка, но знатоками они почитаемы. И о хорошей гитаре мечтает каждый гитарист.

Мечтает и наш Лёнька Коган. Он давно уже копит деньги на импортный инструмент. Однажды он взял у кого-то чешскую гитару и пришел с ней в институт. Хороша была, ничего не скажешь, отполированный темный корпус блестел, как зеркало. И струны звучали глубоко, мягко. Дав нам полюбоваться гитарой, Лёнька исчез куда-то, мы так и не видели его на лекциях. Оказалось, он весь день просидел в укромном уголке возле спортплощадки и играл, играл.

Хороший Лёнька человек! Мне кажется, любовь к музыке отразилась и на его характере. Этот широкоплечий невысокий парень с гривой волнистых волос удивительно спокоен, вывести его из себя просто невозможно. У нас в группе много остряков, которые это пытаются сделать. В общем-то, это не очень честно. Лёнька не трус и может почти с любым в группе помериться силами. Но все знают о его добродушии: он за грубость не только тумака не даст, даже и не ответит. Усмехнется, пожмет плечами, если у него в руках гитара – возьмет парочку аккордов: мол, чего ты пристал?

А как Лёнька бывает доволен, если кто-нибудь просит его: «Поучи играть!» Какой он терпеливый и старательный учитель! Я знаю это не с чужих слов: ведь я один из Лёнькиных учеников. Ридван тоже у него учится, а иногда присоединяется и Рудик. Еще во время хлопковой страды мы донимали своими просьбами и Когана, и Круглова. Но староста наш нетерпелив, хватало его минут на десять, не больше, так что вскоре мы перешли «в класс профессора Когана». Заниматься решили серьезно: свой «хлопковый капитал» потратили на покупку гитар. Отечественных, конечно, о настоящих пока и мечтать не приходилось...

Здесь в лагере мы почти каждый день уделяем уроку сколько-то времени перед отбоем. Сегодня после танцев и пения времени осталось совсем немного, но все равно мы приступаем к занятиям.

– Не совсем так. Глядите...

Левая Лёнина кисть – на грифе гитары. Вытянутым указательным пальцем он прижимает все шесть струн. А три других пальца прижимают пониже вторую, третью и пятую струны. Пальцами же правой руки Лёня в это время ударяет вниз сразу по всем струнам.

Лёня показывает нам аккорд до минор. Этот чертов аккорд совсем нас замучил, уже несколько месяцев его разучиваем, а получается плохо.

Но Лёня терпелив.

– Прижимай сильнее... Вот так...

Сильнее... У Лёни на подушечках пальцев самые настоящие мозоли, а мои пальцы после уроков первое время кровоточили, да и теперь еще подушечки, хоть немного и затвердели, продолжают болеть.

– Следите внимательно за моими пальцами!

Лёня перебирает струну за струной. Каждый звук – отчетливый, звонкий. Это – у него, у нас пока так не получается, потому что струна, прижатая плохо, неправильно, сипит, дребезжит, как простуженный голос. А то и вообще не издает звука... Лёнька показывает снова и снова, как надо держать кисть.

– Когда делаешь аккорд, вообрази, что в руке яблоко», – уже в сотый, наверное, раз напоминает учитель. Я пытаюсь, но кисть моя не слушается, она почему-то напрягается так, что напоминает краба с растопыренными клешнями...

Но вот и одиннадцать, почти все ребята укладываются. Разбросались и мы по кроватям. Ещё до того как погас свет, несколько раз стукала дверь и вбегали запыхавшиеся донжуаны. Уже в темноте я услышал, как кто-то хихикнул:

– А Савельева-то опять нет!

Из всех наших донжуанов пловец Серёга Савельев был самым бесшабашным, кровать его после отбоя пустовала не в первый раз.

* * *

Раньше всех пробуждался Димка. Нас и так-то поднимали рано, в полседьмого. А он чуть ли не в шесть утра начинал топотать своими ножищами по комнате и хлопать дверями. Зарядку он, видите ли, особую делал с утра пораньше! Вдгонку Димке, кроме сонного ворчанья и ругани, порой летели и тяжелые предметы.

В это утро я спал так крепко, что не слышал ровным счетом ничего, пока Димка не проорал во всю мочь:

– Эй, просыпайтесь! Савельева словили!

Димка, оказывается, уже выйдя из дома, услышал от кого-то новость и вернулся, чтобы сообщить нам: Савельева застукали ночью в одной из девичьих палаток, мало того – в постели. У Лильки. Всем нам было известно, что пловчиха Лилька его подруга. Но чтобы в общей палатке... Мы погоготали сначала, представив себе, как фонарик дежурных осветил четыре ноги, торчащие из-под одеяла на койке. Потом стали спорить да гадать, что теперь будет. Сошлись на том, что и Серёга Савельев, и Лилька скорее всего из лагеря вылетят. Ну, так ведь знали, на что идут! Зато ни в чем себе не отказывали! И мы снова принялись хохотать и сочинять подробности свидания.

В таком вот веселом, даже приподнятом настроении отправились мы на утреннюю линейку, ожидая, что и здесь позабавимся. Линейка проводилась на танцплощадке. Как обычно, мы выстроились по кругу, все еще возбужденно переговариваясь. И вдруг разговоры смолкли. В центре площадки стояли, оказывается, эти двое – Лилька и Серега. И это уже было совсем не смешно. Они стояли мрачные, осунувшиеся, побледневшие. Какие-то... Ну, словом, как привязанные к позорному столбу, как приговоренные к казни. Думаю, что не только я, а все ребята почувствовали это. Потому-то и наступила тишина.

Да, мы как-то не ожидали, что их выставят вот так на позор, перед всем лагерем. В этом было что-то отвратительное, гораздо более непристойное, чем то, что эта легкомысленная парочка сделала ночью. Но руководители лагеря так не считали. В центр круга вышел один из преподавателей – и «позорная казнь» началась...

* * *

Мы росли в то время, когда надзор за «моральным обликом», процедура коллективного обсуждения и осуждения считались нормой человеческих отношений. Главным средством воспитания. На фабричных собраниях то и дело «песочили» алкоголиков и тунеядцев. Все понимали, что словами алкоголика не прошибешь, не перевоспитаешь, что это невероятно трудное дело, требующее повседневного душевного участия, а не казённых слов. «Прорабатывая» на собраниях мужа, изменившего жене, или жену, изменившую мужу, все понимали, что после этого собрания, где их позорили и поливали грязью, они не раскаются, не станут по-иному

относиться друг к другу, а скорее всего научатся лучше маскироваться. Либо они вовсе разойдутся...

Все это понимали, но продолжали участвовать в комедии «проработок». Потому что был установлен такой порядок. А скрывалось за ним вот что: неважно, как на самом деле, важно, чтобы снаружи все выглядело хорошо. Заодно демонстрировался и принцип коллективизма: мол, советский коллектив – могучий воспитатель.

С раннего детства я сыт был этим принципом «по горло, до подбородка», как пел Высоцкий. Сколько собраний, общешкольных и классных, сколько пионерских сборов было посвящено «коллективному перевоспитанию!» То Гервальда стыдили за плохое поведение, то Опарина – за прогулы, то еще кого-нибудь – за двойки... Самое печальное, что это действительно превращалось в уроки. Обвиняемые учились каяться и хитрить, обвинители учились ханжеству, учились произносить красивые и лживые слова, которые могут понадобиться в будущем для карьеры.

То, что происходило сейчас, тоже было вариантом «проработки», но таким, который не требовал нашего участия. Преподаватель, окидывая суровыми взорами «подсудимых» да и всех нас, произнес гневную речь. Он сообщил, что этот аморальный поступок будет очень строго наказан. О нем немедленно доложат ректору. Он заклеил возмутительное поведение девочек из Лилькиной палатки, допустивших это позорное, безнравственное происшествие. Он корил всех нас за безразличие к лагерным устоям, что и привело якобы к сегодняшнему безобразию... Он говорил и говорил, а мы, переминаясь с ноги на ногу, думали: уж поскорее бы ты заткнулся! Что же нам всем теперь кастратами стать, что ли? К тому же мучительно было смотреть на Серегу и Лильку, которых, вероятно, ожидало кое-что похуже изгнания из лагеря. Но как помочь им?

* * *

Об этом мы и говорили, собравшись после обеда довольно большой группой в долинке под сенью дуба. В совещании участвовал и сам «виновник торжества».

– Вы что же, в горы не могли уйти?

Валерка Круглов сидит, опершись спиной о могучий ствол дерева. В руках у него сигарета. Когда Валера волнуется, нервничает, он непременно курит. И затягивается посильнее. При этом его густые усы как бы подталкивают курносый нос, который задирается еще выше. Обычно это меня смешит, но сейчас не до смеха. Вон и у Валеры пальцы с сигаретой подрагивают. Валере уже двадцать пять, он опытнее всех нас и, вероятно, лучше, чем мы, понимает, как из-за ерунды, из-за одного случайного поступка может сломаться жизнь молодого, неопытного человека. К тому же он – спортсмен, а для спортсменов взаимная выручка – это не слова, это закон жизни.

Савельев – он тоже сидит под дубом и палочкой ковыряет землю – в ответ мрачно пожимает плечами. Да и что тут ответишь в самом-то деле, – думаю я. Небось, лихость свою захотелось ему показать, захотелось покрасоваться перед Лилькой. Я, мол, крутой, все могу, никого не боюсь!

– Ему хотелось, где помягче, – хихикнул кто-то.

Но никто не засмеялся, не поддержал шутилого тона. Круглов даже сморщился, помотал головой и почти злобно проговорил:

– Осёл!

Савельев, ещё ниже опустив голову, продолжает расковыривать ямку. Видно, сейчас ему похуже, чем на утренней линейке.

У Круглова, между прочим, тоже любовь. Они с Ольгой Сандлер влюбились друг в друга сразу, как попали в институт. И вот как им повезло – вместе оказались в горах... Конечно же,

они тоже стараются побыть наедине. Но таких выходов, как Серёга, Круглов себе не позволяет. Он к Ольге относится по-рыцарски.

– Ну, лады... Что делать-то будем? – спрашивает Валера, бросив окурок.

Заговорили все разом. Склонялись к одному: надо выбрать делегацию посolidнее и сегодня же идти к начальству. Просить, уговаривать, чтобы ничего не сообщали ректору... Ничего лучшего не придумаешь.

Вошли в делегацию сам Круглов, комсорг Саша Носов и баскетболист Паша Осетров. Все трое пользовались у педагогов авторитетом, как хорошие студенты. К тому же у институтских спортсменов с педагогами отношения, можно сказать, почти «на ты», совсем иные, чем у остальных студентов. Еще бы, ведь спортсмены – это нечто вроде валюты, с их помощью, если они выигрывают в больших соревнованиях, институт может прославиться. А если институт прославился, его и министерство всячески поддерживает, гордится им. Такой институт тоже что-то вроде валюты... Словом, коммерческие отношения в том или ином виде главенствовали и в Советском Союзе.

В тот же вечер делегаты отправились в коттедж, где жили преподаватели. Не было парней долго. Вернулись они в спальню перед самым отбоем, и мы сразу поняли, что дело плохо. Ни хорошая репутация, ни красноречие – ничего не сработало! Педагоги были непреклонны в своем решении сообщить обо всем ректору. То ли они боялись, что стоит только смягчить наказание Савельеву, и в будущем сезоне все парни переселятся в палатки к девушкам. То ли опасались, что если скрыть ЧП, а потом оно дойдет до ректора, им самим больше в лагере не бывать...

Сколько ни просили потом за Серёгу (даже группа родителей ходила к ректору), все было зря. Его исключили из института. А подружку его все же пощадили, оставили. Ходили слухи, что она все свалила на Серёгу: он, мол, пробрался в палатку и её, спящую, застал врасплох, чуть ли не изнасиловал.

Эту историю мы долго потом вспоминали. Конечно, мы жалели беднягу Савельева, но чем больше времени проходило, тем более смешной казалась нам сцена прерванного ночного свидания. Мы хохотали до упаду.

Думаю, что рассказ об этом происшествии, сильно приукрашенный, стал потом одной из тех лагерных легенд, какие вспоминают вечером у костра из сезона в сезон. Но я-то уже этой, приукрашенной рассказчиками легенды не слышал. Случилось так, что никогда больше не довелось мне побывать в «Хумсане». И не только потому, что я не стал спортсменом...

Глава 10. Решение

Память – вещь таинственная. Читал я, что где-то там, в недрах мозга, спрятан подробный отчет о каждой прожитой нами минуте, обо всем, что с нами происходило, до мельчайших деталей. Точно так же, как в компьютере хранится вся информация, полученная от нас (если, конечно, не забыли сохранить). Но наша память гораздо капризнее памяти компьютера, из которой мы можем в любую минуту извлечь любую информацию. Очень многое она прячет слишком уж надежно, так надежно, словно этого и вовсе не было. Что-то, иногда очень важное, мы помним лишь в общих чертах, будто память считает, что с нас достаточно краткой выжимки, конспекта. А то и совсем бывает чудно. Нажимаешь, нажимаешь на... То есть я хочу сказать, просишь её, «расскажи подробнее, как это происходило», а она в ответ вместо желаемых подробностей выдает какие-то странные картинки, вроде бы не связанные с событием, которое пытаешься вспомнить... Но может, и связанные, только нам не дано понять, как? Кто знает...

* * *

Поздний вечер, темно. Бегу домой, то есть в дедов Старый Двор, от Яшки с Ильюшкой, с которыми мы заигрались в карты. Пробегаю мимо ворот тётки Мазол, соседки и приятельницы бабушки Лизы. В эти ворота я захожу довольно часто. То бабушка посылает передать что-то соседке, то тётушка Мазол просит заглянуть, помочь. А я и рад. Во дворе у тётушки Мазол, приветливой и добродушной, растет замечательная черешня. Просто необыкновенная! Дедова не может сравниться с этой ни по вкусу, ни по красоте. На самом лучшем базаре Ташкента не найдешь такой сочной и сладкой черешни. Крупная, желтая, да еще с мраморными переливами. В начале лета ею усыпано все дерево, плодов больше, чем листьев. Добрая тётушка Мазол в эту пору непременно предлагает мне полакомиться. Так ведь не станешь же в ответ на такое приглашение пастись на чужом дереве, сорвешь несколько черешенок, вот и всё. Но однажды мне подфартило: тётка Мазол слегка приболела, дети ее в эту пору куда-то поразъехались, и бабушка Лиза попросила меня переночевать у соседки. Я радостно согласился (черешня как раз была вся покрыта плодами) и устроился во дворе на топчане. Дверь в дом открыта, если что, тётка позовет... Но тётка Мазол мирно проспала всю ночь, а я чуть ли не полночи просидел на дереве. Не припомню другого случая, когда мне, больше, чем в тот раз, пригодился бы фонарик. Впрочем, я и без него справился. Я понял это утром, поглядев на черешню: теперь она выглядела, как и подобает нормальному дереву, листьев на ней было больше, чем плодов.

Тётушка Мазол, проснувшись, предложила мне позавтракать с ней, но я вежливо поблагодарил, сказал, что утром у меня нет аппетита, и ушел, унося в кармане увесистый газетный кулек со светло-жёлтыми косточками.

* * *

...Итак, поздний вечер, я бегу домой. Взглянув на ворота тётки Мазол, вдруг замечаю, что ворота перекрашены. В какой-то странный цвет, как говорится, серо-буро-малиновый... При этом старые щелястые ворота стали удивительно гладкими. Прямо как стекло! Лампочка, висящая над воротами, освещает эту гладкую поверхность, на неё сейчас падает моя тень. Очень четкая. Вспомнив свою детскую забаву – теневой «зверинец», я, подняв руку, начинаю пальцами изображать зверушек. На стене заплясали, запрыгали тени – собачка, разевающая пасть, летящий голубь, кролик... «Браво, браво!» – кричат невидимые зрители. Наигравшись,

я поклонился им, помахал правой рукой. Моя тень тоже помахала. Я переменял руку, стал махать левой. Но что же это? На воротах не было тени левой руки! Куда она девалась? Я снова поднял правую – тень повторила мое движение. Поднял левую – ничего... Как же это? По всему моему телу, с головы до ног, пробежали мурашки, не помня себя от страха, я кинулся бежать и услышал, что за мной гонятся. Ближе, ближе... Чье-то горячее дыхание обожгло мою шею, я споткнулся, упал, полетел в какую-то бездну – и проснулся от собственного крика.

Одно-два мгновенья я все еще был охвачен страхом, в животе была та резкая слабость, какую чувствуешь в самолете, когда он проваливается в яму, попав в зону турбулентности. И вдруг... Фу-ты, понял я, это же был сон!

Меня отпустило. Я вытер холодный пот со лба. Ух, какой неприятный сон! И ведь надо же, почти все, что в нем было – возвращение домой, покрашенные ворота тетки Мазол, игра в тени, все это действительно происходило, правда, давно, несколько лет назад. А вот страшных чудес не было. Ни исчезновения руки, ни бегства, ни преследования, ни кошмарного страха... Ничего! Почему же во сне все это померещилось?

Сидя на постели, я огляделся. Августовская ночь, Старый Двор, топчан возле урючины. Да, я ночую сегодня здесь. И не только я – мои родители, Эммка – все мы снова в этом доме. Правда, временно.

Прожив двенадцать лет в Чирчике, мы уехали оттуда навсегда летом 1979 года, потому что решили эмигрировать из Советского Союза...

* * *

Сейчас, почти двадцать пять лет спустя, я пытаюсь восстановить в памяти этот самый трудный и самый важный период жизни нашей семьи. Но память – вещь таинственная, и мне почему-то прежде всего с необычайной яркостью припомнился мой ночной кошмар на топчане под урючиной... Ну что же, решил я, с этого и начну.

А теперь все же попробую вспоминать по порядку.

* * *

В конце семидесятых годов страна, именовавшаяся Советским Союзом, была охвачена эпидемией, которая исподволь варилась в котле истории и не могла не выплеснуться из него. Говоря точнее, эпидемией были охвачены главным образом советские евреи, но лихорадило всю страну. Называли эту эпидемию, а также заболевших по-разному, в зависимости от того, кто называл. «Возвращение на родину предков»... «Воссоединение»... «Третья волна»... «Жалкие отщепенцы»... «Купленные за джинсы»... «Преклонение перед Западом»... «Предатели родины»... Ну, и тому подобное. В русском языке появились слова и выражения, доселе неслыханные, а теперь понятные всем и каждому: «отъезжанты», «отказники» (или «сидеть в отказе»), «ждущие вызова» (какого – всем ясно), «они в подаче»...

Но это только так, к слову. Я эпидемию отъездов описывать не собираюсь, это давно уже и много раз сделано. Могучей, третьей по счету, волне эмиграции из Советского Союза посвящены десятки книг и многие сотни статей. Написаны серьезные социологические исследования, мемуары, повести и рассказы... Это – во-первых. А во-вторых, жили мы в довольно глухом уголке, до которого докатывались лишь слабые отзвуки происходившего. Да и немудрено: в Чирчике проживало немногим больше десятка бухарско-еврейских семей. Но разговоры, конечно, велись. «А вы слышали? Такие-то уезжают...».

* * *

Первой «отъезжанткой» в нашей семье стала мамина сестра Роза: с мужем и детьми уехала она в Израиль. В Юршалаим, как называли это государство все мои родственники. Наверно, потому, что именно Иерусалим, духовный центр этой страны, был для всех ее символом. Кстати сказать, мне это слово – Юршалаим – нравилось гораздо больше, чем Израиль. В Советском Союзе слово «Израиль» произносили с такой ненавистью, с таким презрением – услышишь его, бывало в «Новостях» по телевидению – и все внутри сжимается. Вот пусть чужие и говорят «Израиль», да еще с неправильным ударением на последнем «и!» А у нас есть свое слово – «Юршалаим». И звучит оно удивительно тепло, даже для меня, не знающего иврита.

Я не помню всех обстоятельств переселения Розиной семьи, только знаю, что именно с этого времени тема отъездов, эмиграции, жизни в Израиле стала одной из главных в маминых мыслях и в семейных разговорах. Мама с Розой непрерывно переписывались. Каждое письмо от нее было событием. Не успеешь войти в дом, а мама уже бежит навстречу с радостным возгласом: «письмо из Юршалаима!». Конверт брали в руки, как величайшую ценность, осторожно вскрывали ножичком, держа на свету, чтобы не дай бог не повредить письма и не испортить конверт, продолговатый, обклеенный красивыми израильскими марками, с оттиском букв «святого языка», как выражался дед Ёсхаим. Мама непременно читала Розины письма вслух и тут же переводила (тетка писала на бухари). Мы с жадностью слушали эти весточки «оттуда», стараясь хоть что-то узнать о совершенно новой для нас, иногда просто загадочной жизни, о которой до этого мы ничего не могли ни услышать, ни прочитать. Впрочем, сказать по правде, в теткинских письмах, довольно путанных и бестолковых, не очень-то много было информации. Как и полагалось, начинала она с долгих-долгих приветствий и успокоительных фраз вроде «у нас все, слава богу, хорошо, все здоровы». А потом только переходила к вещам более существенным.

«Живем в кибуц, изучаем иврит в ульпане. Трудно очень!» – сообщала тетка Роза в одном из первых писем. Что такое кибуц мы хоть смутно, но знали. Что такое ульпан – представления не имели. Мы удивлялись: почему наши родственники, городские люди, решили стать сельскими жителями? Сами так надумали или почему-то пришлось? Может, потому что в кибуц они живут и питаются бесплатно? Но за работу ведь ничего не получают... Что же дальше-то будет? Загадка на загадке... Нам так и не удалось выяснить из писем Розы, что, поселившись в кибуц, семья таким образом не тратит «корзину» – так называются деньги, которые шесть месяцев выдают репатриантам. А через полгода, прикопивши деньги, можно уйти из кибуц, снять квартиру, найти работу... Не помню, от Розы ли мы узнали, что ульпан – это бесплатные языковые курсы, где можно учиться от полугода до двух, кажется, лет.

Но даже те сведения, которые удавалось извлекать из писем, приводили нас в восторг.

– Ничего для страны еще не сделали, а им уже все бесплатно! А у нас? – Мама всплескивает руками, потом разводит их и с расстановкой, с ударением на каждом слоге, произносит: – Хук-мат-ти-дуд!

В переводе с бухари это означает: «государство воров».

В первых Розиных письмах много было жалоб. Чувствовалось, что в новой стране многое ее пугает и держит в напряжении. Родители этого не понимали. Подумаешь, трудности, говорили они. Разве здесь их меньше? Очевидно, душевное состояние эмигранта-новичка можно понять лишь на собственной шкуре... Впрочем, тон Розиных посланий менялся от месяца к месяцу. Вот они из кибуц переехали в город Лод, вот теткин муж Даниил нашел работу на военном заводе, вот и квартиру получили, оплаченную государством. Сообщение о том, что

чуть ли не всю квартиру обставили мебелью, которую кто-то из соседей выкинул на улицу, показалось совсем уж фантастическим.

Небось, подобрали какой-нибудь ломаный стул, подумал я, но ничего не сказал, чтобы не огорчить маму. Но вскоре тетка прислала и фотографию. Мебель, действительно, выглядела вполне приличной.

А тетка продолжала удивлять нас. Тем, например, что цены на одни и те же продукты в разных магазинах разные. «В магазине у остановки сахар дешевле, чем за углом», – сообщала Роза.

– Да не может быть! – восклицал отец. – Путает она. Сорта, наверно, разные...

Среди приятных новостей была и такая: Розе удалось разыскать родственников, потомков ее бабушки по отцу, сумевшей сбежать из Узбекистана на родину предков еще в пятидесятых годах. Словом, жизнь налаживалась...

Розин отъезд, её письма – всё это было своего рода толчком, после которого и начали родители поговаривать об эмиграции. Но как-то так неуверенно, не слишком-то всерьез. В семье наконец-то наступило сравнительное материальное благополучие – и отец, и мать зарабатывали неплохо. В квартире появилась новая мебель. Даже машину, призывая у родственников денег, купили. Здоровье отца понемногу налаживалось, приступы астмы стали реже его мучить. На работе обоих ценили, у обоих были друзья, дети учились... Чего же еще надо?

На этот вопрос труднее всего ответить... «Чего нам надо?..» Человеку вообще свойственно стремиться к чему-то новому, еще не испытанному. А если об этом неиспытанном всё чаще слышишь, и то, что слышишь, привлекает... А если к государству, в котором живешь, относишься неуважительно, настороженно, ждешь от него притеснений и обид... Но, может быть, самую важную роль играет неистребимая тяга поступать, как другие. Как люди, с которыми мы связаны родственно, национально, социально. В данном случае это звучало примерно так: «Люди едут, а мы что же, хуже людей?»

Ко всему этому прибавлялись тревоги моих родителей, что рано или поздно меня призвут на военную службу. Особенно боялась этого мама, впрочем, как и все еврейские матери: об антисемитизме в советской армии ходили совершенно ужасные слухи. Парни из своей же части убивали призывников-евреев, мы знали несколько таких случаев.

Чаще всего родители говорили об эмиграции со своими друзьями Мушеевыми. У них-то были очень серьезные причины для отъезда. «Частный бизнес» Юры и его брата мог вот-вот привести обоих на скамью подсудимых. Мария нередко говаривала маме: «Надо, надо нам уезжать!» И мама, вернувшись домой, говорила мне с грустью: «Что я буду делать без Марии?»

Осенним вечером 78 года мы обедали у Мушеевых. Только уселись за стол, как дядя Юра сказал:

– Мы решили ехать.

Хотя новость не была такой уж неожиданной, наступило долгое молчание. Мама опустила голову, отец тихонько постукивал ножом по тарелке. И вдруг он сказал:

– Тогда и мы поедем...

Мама от удивления аж за щеки схватилась: обычно наш папаша по любому поводу затевал спор и отстаивал собственную правоту. Но на этот раз он сказал именно то, что маме хотелось услышать.

Тут же и начали обсуждать, как действовать дальше.

Мушеевы, оказывается, решили эмигрировать в Америку.

– Очень уж в Израиле неспокойно, – в два голоса объясняли родителям Юра и Мария. – Там постоянно война... Всеобщая воинская повинность... А у нас – сыновья... И дорого там всё. И устроиться, найти работу намного тяжелее!

Хоть у мамы в Израиле была родная сестра, дружба с Марией перевесила. Родители стали расспрашивать про американский вариант.

– Приедем в Австрию по израильской визе, а там можно переиграть, попроситься в Америку, – объясняли Мушеевы.

Они все уже узнали и продумали.

– Как же так? – испугалась мама. – Значит, придется обманывать?

Мама вот чего боялась: не накажут ли Розу, если она пришлет нам вызов «в Юршалаим», а мы, попав в Австрию, от него откажемся? А вдруг государство Израиль, узнав об этом, перестанет помогать Розиной семье? Бедная моя мама, ведь она-то жила в государстве, которое только и делало, что выслеживало и карало! Как не понять её страхов?

Решили Розу в это дело не впутывать. Сошлись на том, что Мушеевы раздобудут нам вызов в Израиль через своих друзей.

* * *

Мы с Эммкой, хотя с нами и не советовались, конечно, все знали. Теперь все мои мысли были о том, что довольно скоро наша жизнь может измениться, перевернуться, переиначиться... А как? Нет, этого и вообразить невозможно! Однако я все же пытался хоть что-то вообразить – и сердце мое то начинало бешено биться, то замирало...

Чем дальше, тем больше манил меня отъезд. В юности все жаждут приключений, а уж я-то! Ведь я рос мечтателем. К тому же действовали и Розины письма, и разговоры взрослых. Все чаще вспоминались детские обиды – и то, как обзывали меня «еврейчиком», и как над «звездой Давида» издевались, и многое, многое еще. Чуть ли не все, что прежде вызывало гордость и казалось прекрасным, стало теперь неприятным, противным, фальшивым...

Стоп, мистер Юабов, не будьте неблагодарным! (Это я сам себя одергиваю). Не так уж мало получил я в Советском Союзе хорошего. Меня и учили бесплатно, и лечили бесплатно, и... Но к чему перечислять, я о многом уже писал. В институте была не только хлопковая страда – в институте был и «Хумсан». А какие замечательные друзья у меня там появились! Неужели я о них забыл, мечтая об отъезде? Нет, не забыл, конечно, но... Когда тобой овладевает какое-то новое стремление, все остальное вытесняется, становится второстепенным. Да и вряд ли кто-нибудь в восемнадцать лет бывает таким рассудительным, чтобы постоянно помнить: вот то-то и то-то я потеряю.

Между тем проходили дни, недели, осень сменилась зимою, приближалась весна, а о вызове, который из далекого Юршалаима кто-то должен был выслать нашей семье, все еще ничего не было слышно.

Но вот однажды мартовским весенним днем, приехав на выходные из Ташкента, болтал я с приятелями у подъезда нашего чирчикского дома. Краем глаза заметил, что в подъезд зашел почтальон, а через несколько минут в окне появилось мамино лицо, бледное, взволнованное. Она махала мне рукой – «заходи, заходи». Я вихрем влетел в квартиру. Я догадывался, что случилось.

– Вот, – выдохнула мама, протягивая вперед обе руки с длинным голубым конвертом. – Я расписалась, почтальон велел...

– От Розы? – почему-то все-таки спросил я.

– Вызов! Вызов из Юршалаима! – И мама заметалась по комнате в поисках ножниц...

* * *

Мы сидели за столом и обедали. Даже помню, что ели: мама приготовила очень вкусный борщ, душистый, приправленный укропом... Неподалеку от обеденного стола, на сундуке возле окна, лежали два длинных листа бумаги, прошитые по левому краю голубой лентой. А посреди ленты была оттиснута круглая печать. На этих листах, на двух языках, русском и

английском, сообщалось, что нас приглашает на постоянное жительство в Израиль наш близкий родственник Борухов (тот самый друг Юры Мушеева, который и его семье прислал вызов).

Уж не знаю, сколько раз каждый из нас прочитал эти несколько фраз, осторожно, кончиками пальцев, придерживая и переворачивая листки. И все равно не могли ни начитаться, ни насмотреться. Сейчас вызов, словно сказочное существо, непонятным образом залетевшее в наш дом, возлежал на белой сложенной скатерке, которую мама специально постелила на сундук. И все мы то и дело на него поглядывали.

Приподняв тарелку двумя руками, отец через край выпил остаток борща (он всегда так делал), потом взял было в руки мозговую кость, и вдруг, отложив её, обвел нас всех взглядом.

– Ну, так что же, едем? – спросил он. – Давайте решать окончательно.

Чтобы отец говорил нам «давайте решать», такого еще не было. Обычно он сообщал о своем решении, и никаких обсуждений, никаких возражений! К тому же и решение, в общем-то, уже было принято. Но, видно, даже и отцу захотелось в этот торжественный момент услышать голоса всех нас.

– Да, папеш! – выдохнула мама.

Отец поглядел на меня. Я закивал головой. Эммка тоже затрясла кудрями.

* * *

С этого вечера в жизни нашей семьи пошел новый отсчет времени. Начался он весной. В августе мы перекочевали в Ташкент и перед прыжком в неизвестность расположились небольшим табором в дедовом доме...

Глава 11. «...для представления в ОВИР»

– Эммка, гляди! Это ж прямо на тебя...

Мы с Эммкой сидим в родительской спальне, на широкой кровати. Между нами на покрывале стоит фанерный ящик, вокруг которого в беспорядке разбросаны соблазнительные дамские вещицы: кофточка, платице, туфельки, еще что-то...

Выхватив у меня из рук шерстяное коричневое пальтишко, Эммка стремительно бросается к зеркалу. Вот она уже закружилась перед ним, отражаясь во всех трех створках трюмо. Глаза горят, волосы взлетают. Пальтишко ей очень идет...

Посылку мы с Эммкой недавно принесли с почты. Её появление показалось нам каким-то чудом. От Розы мы никаких посылок не получали, да и не ждали их. К тому же на ящике имелось имя отправителя – незнакомое. Кто он? За что нам такой подарок? Мы ничего не могли понять!

Конечно, вскоре родители выяснили (вероятно, все у того же Юры Мушеева), что посылки присылают многим еврейским семьям, получившим вызов. В Израиле прекрасно понимали: тем, кто решился уехать из Советского Союза, живется нелегко, а незадолго до отъезда – еще труднее. Так пусть получают хоть какую-то материальную поддержку.

Такая забота поражала не меньше, чем сама посылка. Еще бы, нам открылся совсем другой мир с другими правилами жизни. Такой далекий мир – и он уже знал о нас, думал о нас, хотел помочь! Еще недавно мама удивлялась, как это так, люди только-только приехали в Израиль, а государство уже им помогает! Оказывается, помогают и нам, еще не уехавшим... Мы долго обсуждали, кто в Израиле организует такую помощь будущим иммигрантам? Государство? Благотворительные организации? Просто добрые люди? Ведь прочли же мы на нашей посылке имя какого-то незнакомого человека из Швеции...

– Дай бог им всем здоровья! – с жаром говорила мама.

* * *

Я вспомнил о посылке потому, что это было, пожалуй, единственное приятное событие среди тех, которые начались с того дня, как мы решились на отъезд. Впрочем, не в отдельных событиях дело, а в том, что вся наша жизнь внезапно переменилась. Исчезло все то, что ее наполняло каждодневно, что было ее основой... Исчезло, отпало, будто его и не было. А начались эти перемены вроде бы с пустяка: для того чтобы подать в ОВИР заявление об отъезде, понадобились справки. Справка с места жительства, то есть от тех, кто управлял нашим домом (а ближе к отъезду – справка о том, что у нас уже нет жилья, что мы его освободили). Справки с работы. Справки из наших с Эммкой учебных заведений. И каждая из них заканчивалась строчкой: «Для предоставления в ОВИР с целью выезда в Израиль».

Каждому гражданину Советского Союза для повседневной жизни требовалось невероятное количество разных справок и документов. Все привыкли к этому. К тому, например, что ни в одном городе нельзя жить без прописки, то есть без сделанной в милиции особой отметки в паспорте о том, что вы действительно проживаете в этом городе и имеете «жилплощадь» там-то и там-то. А пойди-ка эту прописку получи во многих больших городах, не говоря уж о столице! У каждого взрослого человека имелось свидетельство о том, где он сейчас работает, где и сколько времени работал прежде (это называлось «трудова книжка»)... Но зачем перечислять? Повторяю, к этому все привыкли. Только обзаведясь кучей справок, ты мог считать себя реально существующим человеком и гражданином.

Но справки, которые мы добывали, чтобы оформить отъезд, приводили как раз к обратному результату: получив их, мы немедленно выбрасывались из общества! Мы как бы пере-

ставали в нем существовать. Ну, какое учреждение, давая тебе справку «для предоставления в ОВИР», для отъезда из «лучшей в мире страны», оставит тебя на работе до реального момента отъезда? Тебя выкинут, и выкинут немедленно!

Именно так и случилось со всеми нами.

Директор маминой фабрики был человек, видимо, неплохой. К тому же терять одну из лучших работниц ему ой как не хотелось! Он маму и к себе много раз вызывал, и в цех к ней прибегал. «Ты что, с ума сошла? Такую страну покидаешь! Тебя же орденом наградили, у тебя – слава, ты – наша гордость! А фабрика? Бросишь фабрику, где столько лет проработала? Ведь мы твоя семья»... Ну, и прочее в том же роде. К попыткам пробудить в маме патриотизм директор добавлял вполне практические и заманчивые обещания: премиальные, сверхурочные, словом, всяческие прибавки к зарплате. Но мама оставалась тверда. «Нет, все уже решено. Но ведь пока-то мне нужна только справка. Только справка, что я здесь работаю! Когда уедем – неизвестно, может, буду с вами еще долго...»

Но не решился директор оставить на фабрике работницу, собиравшую справки для отъезда из страны. Говорят, были такие смельчаки – не знаю, не видел таких. Правда, уволили маму не с позором, а можно сказать, с почетом. Проводы ей устроили, и плакали, и пели, и целовались, и прошлое вспоминали. Мама вернулась домой с огромной охапкой цветов и... с нужной справкой.

Отцу проводы не устраивали и цветы не дарили. Но и с ним прощались тепло, «изменником родины» не называли. Думаю, что многие из коллег-учителей поглядывали на него с завистью. Вернувшись домой со справкой, папа похвастался, что сам директор школы, Иван Лукич, пожелал ему всего хорошего.

Вот так, получив свои справки и добрые пожелания, и мать, и отец стали безработными. «Безработица» ожидала и нас с Эммкой.

Сестра без особых трудностей получила справку в медицинском училище, где заканчивала первый курс. Её тут же, конечно, и отчислили. С моим уходом из института все оказалось намного сложнее.

Главная сложность была вот в чем: в институте работал дядя Миша. Известие об отъезде родственников, мое отчисление, грозило ему большими неприятностями. Произойти могло все что угодно – уволить тоже могли...

Скажу сразу: к нашему отъезду дядя Миша относился с полным пониманием. Он и сам уже подумывал через какое-то время двинуться с семьей в дальнюю дорогу. Все к этому толкало, и прежде всего то, что отъезд бухарских евреев из Ташкента уже стал массовым. Но были у дяди и свои личные обиды, давние раны, которые не заживали. Скажем, когда он заканчивал свою кандидатскую диссертацию, один из «ученых мужей», от которых зависело ее продвижение, предложил ему «по-дружески»: напишешь кандидатскую для моей дочери, тогда дам ход и твоей работе. Дядя знал: так и будет, так делается повсюду... Пришлось, конечно, согласиться. Были и другие жгучие обиды. Дядя был талантлив и честолюбив, а советский строй мешал ему, как и многим евреям, полностью осуществить свои планы...

Хотя Миша и его семья еще не были готовы к такому же шагу, как мы, дядя искренне хотел помочь нам. Кстати, и на будущую помощь нашего «передового отряда» он в какой-то мере рассчитывал. Однако преждевременные неприятности в институте были ему совсем не нужны!

Как же быть? Братья не раз и не два обсуждали это щекотливое дело. Послать за справкой меня, а дяде притвориться, что ничего он о нашем отъезде не знает? Никто этому не поверит. Не он ли два года назад так энергично «пропихивал» меня в институт?

В конце концов дядя решился взять операцию «получение справки» в свои руки, поговорив один на один с деканом. Дядя с деканом были друзьями, можно было надеяться на понимание.

Я в обсуждении этих планов не участвовал. Мне просто сказали, что справку достанет дядя, и я очень обрадовался. Уж до того мне не хотелось идти к начальству и объявлять, что мы уезжаем в Израиль! Я живо воображал, что могу после этого услышать. Или что прочту в глазах. «В Израиль? Ненавидите, значит, нашу страну? Удираете? Вот вы, евреи, какие...» Насмешки, уговоры, упреки...

Ну а дядя Миша, думал я, все устроит тихо, без шума, без огласки. Пустяковое дело – декан вызовет секретаря, она отпечатает справку, поставит печать, напишет приказ о моем отчислении. Все. Был племянник – и нет его... Исчез. Обоим нам хорошо – и дяде Мише, и мне...

* * *

Но не тут-то было! Уж не знаю, каким образом, после разговора дяди с деканом весь деканат узнал о том, что племянник Юабова уезжает в Израиль. Дядя сразу это почувствовал. Иначе стали вести себя с ним коллеги, он замечал их взгляды – то лукавые и понимающие, то злые, но почти у всех испуганные. А кое-кто, если никого поблизости не было, спрашивал шепотом: «Это правда? Ну а вы? Тоже?..»

– При чем тут я? – пожимал плечами дядя. – У меня своя семья и своя голова на плечах...

Но он был расстроен. Как же так, деканат факультета физики, интеллигентные люди с учеными степенями, профессора, известные по всей республике... Где, как не здесь ожидать широты взглядов? И вот тебе широта. Перепугались, как кролики!

Напоминать декану о справке дядя, конечно же, не пошел.

Не пошел за справкой и я. Так или иначе она будет получена, зачем мне соваться в деканат? Другое меня мучило: как быть с ребятами в группе? Не могу же я внезапно, без всяких объяснений, исчезнуть, как преступник, как вор! Рассказать правду? Не все меня поймут. Народ в группе хороший, но многие так далеки от наших бед и проблем...

Но одному человеку я просто должен был сказать правду. Ридвану.

* * *

...Мы дошли с Ридваном до его общежития и устроились напротив на холмике, поросшем молодой, совсем еще свежей травкой. Весеннее солнышко так ярко ее освещало, зелень просто насквозь просвечивала... Я держал в руках листок бумаги: Лёнька Коган записал для нас аккорды к новой песне Демиса Руссоса «Сувениры». И Ридван, поглядывая на листок, перебирал струны. Оба мы напевали. «Вот сейчас допоем, – думал я, – и тогда... Вот еще два аккорда...»

И только замолк последний, я сказал:

– Ридван, послушай...

Одним духом, не останавливаясь, я выложил все: и что мы собрались уезжать, и с чего это началось, и про Розу, и про Израиль, и про Мушеевых, и про Америку.

Ридван слушал молча, только брови поднимались все выше, выше.

– А как же институт? – растерянно пробормотал он, когда я закончил.

Я пожал плечами:

– Ну... Ведь и там есть институты.

Мы помолчали. Грустно глядя куда-то в сторону, Ридван опять начал наигрывать.

– Послушай-ка, Ридван, я не хочу, чтобы ребята... Ну, про Израиль, понимаешь?

Ридван кивнул:

– И не надо...

– Может, сказать, что отца посылают за границу? Тренером. Надолго, с семьей... Только вот куда, как ты думаешь?

– Скажи – в Афганистан, – немного оживившись, предложил Ридван. – Все-таки дружественная страна, туда посылают... Хочешь, я завтра начну всем рассказывать?

И вздохнув, он снова заиграл.

– А вот эту помнишь?

Мы запели.

* * *

У меня после этого стало как-то полегче на душе. Будто какую-то часть тяжести я переложил на крепкие плечи Ридвана. Выдумка, конечно, была до смешного наивной, но я старался не думать об этом. То есть я, конечно, понимал, что ребятам лапшу на уши не повесишь, они догадаются, куда я еду. Но я им даю понять, что не хочу разглашать это.

И намек был понят. Ребята вели себя со мной, как всегда, будто ничего не происходит. Никто меня не расспрашивал ни об Афганистане, ни об отъезде вообще. Очень чуткими оказались парни из моей группы!

Недели две после разговора с Ридваном я продолжал ходить на занятия, все надеялся, что дадут справку для ОВИРа и еще одну, академическую, о том, сколько я учился и каковы мои успехи (кстати, этой справки мне почему-то так и не дали). Но вот однажды подошли ко мне на перемене Валера Круглов, наш староста, и Сашка Носов, который стал теперь комсоргом группы.

– Валер, тут дело такое, – начал староста, – сегодня будет, понимаешь, групповое собрание. Комсомольское. Это, понимаешь, тебя из комсомола будем исключать... – Тут староста хихикнул, вроде бы совсем не к месту, и подмигнул мне. Ни меня, ни Сашки он не опасался. – Такая, значит, тр-р-рагедия, а? Ну, ладно, Валер, не переживай! Ничего не поделаешь, формальность.

– Скажи там, что сожалеешь, – добавил комсорг Сашка и похлопал меня по плечу. – Ну, давай!

Собрание происходило после урока матанализа, в том же классе. Все в группе были комсомольцами, никто и не разошелся. Явился куратор нашей группы, Турсун Абдуллаевич.

Голова его была гладко выбрита, и хотя он брил ее часто, мне почему-то показалось, что сегодня куратор сделал это в знак скорби...

Все уселись, а я вышел вперед...

Странно было стоять перед друзьями в качестве виноватого. Никогда, ни в школе, ни в институте, я не был героем таких вот «разборок», а тут вдруг... Пусть на мне нет никакой вины, но все равно почему-то ужасно противно и тяжело!

– Ну, Валера, рассказывай, – блеснув головой, как бильярдным шаром, сказал сидевший позади Турсун. – Куда уезжаешь, почему...

Я молчал. Говорить про Афганистан, про папину командировку, здесь было уж совсем глупо. Ведь не только Турсун, уже многие ребята знали, куда мы собрались.

– Родители... – пробормотал я, – едут... А я с ними...

И тут вдруг «Афганская версия» неожиданно сработала. Несколько девчонок, оказывается, были так наивны, что поверили в эту мифическую командировку. Теперь они с жаром принялись уговаривать меня:

– Тебе-то зачем ехать в этот Афганистан? Оставайся! Мы поможем тебе!

Кажется, первой начала меня убеждать Наташа Приятнова. Её сразу же поддержала Ильгизка Шаймрданова, моя тайная любовь:

– Конечно, поможем! И с деньгами, и с общежитием!

– А потом и родители вернутся! – закричал еще кто-то.

Почему-то это приятно было слышать, у меня даже настроение исправилось немножко. Эти славные девчонки не понимали, что за поездку в Афганистан, пусть и длительную, никто бы меня из комсомола не стал исключать. Но у меня у самого в этот момент в голове все перепуталось, я только думал с благодарностью: «Ой, девчонки!»

– Какой Афганистан? При чем Афганистан?.. – услышал я голос Турсуна.

«Только этого не хватало!» – испугался я. К счастью, никто Турсуну ничего объяснять не стал.

– Ребята, ну чего к нему приставать? Уезжает семь, вот и он едет! – раздался чей-то голос. Кажется, это был Круглов...

– Правильно! Давайте голосовать! – закричал Ридван.

А за ним и многие. И через несколько минут все было закончено. Группа единогласно исключила меня из комсомола, что не помешало парням и девчатам тут же окружить меня. Прощанье было самым дружеским, все желали мне счастливого пути.

Последним ко мне подошел куратор. Но не для того, чтобы попрощаться.

– Ну вот, – сказал Турсун и взглянул на часы. – Мы как раз успеваем.

– Куда?

– То есть как это – куда? В институтский комитет комсомола. Сейчас будут решение группы утверждать. Идем, тебя уже ждут.

В комитет комсомола... Я и забыл о его существовании. И никто меня не предупредил о том, что еще одна «инстанция» будет меня терзать!

Мы с куратором спустились по лестнице в подвальный этаж, где размещались институтские лаборатории, библиотека и разные общественные организации. Шагая рядом с Турсуном, я чувствовал себя не лучше, чем преступник, под конвоем идущий в суд. На групповом собрании я держался, я как-то успел к нему подготовиться. А сейчас...

Куратор постучался в одну из дверей, вошел, потом высунул свой бильярдный шар и кивнул мне: «Заходи». Я шагнул вперед...

Я и сейчас вижу перед собой эту большую, с высоким потолком комнату, в глубине которой стоял длинный стол, покрытый суконной скатертью. За этим столом сидели мои судьи – человек двадцать. Они пристально и мрачно глядели на меня. Это были студенты с разных курсов и разных факультетов. Я узнавал знакомые лица, но видел их словно в тумане. «Товарищ Юабов, рассказывайте...» – услышал я.

Ах, как бы мне хотелось описать здесь такую, например, сцену: после этих слов я шагнул вперед и громким, звенящим голосом сказал: «Я уезжаю в Из-ра-иль! Да-да. В Из-ра-иль! На родину своих предков! А может быть, и в Америку! Каждый человек вправе жить, где пожелает».

Мне бы очень хотелось... Но я стараюсь писать только правду. Я был запуганный юнец. Я даже не помню, что я бормотал, отвечая на вопросы своих судей. Все то же, наверно – про семью, может быть, про этот дурацкий Афганистан... Не помню! В конце концов, прошло с тех пор почти двадцать пять лет. В конце концов, может же вытесниться из памяти то, о чем противно и больно вспоминать!

Но конец этой сцены остался в памяти. Раздался голос:

– Голосуем. Кто за исключение Юабова из рядов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи?

Стол оцетинился руками.

– Кто против?

Ни одной руки...

– Сдайте комсомольский билет.

Я вытащил из внутреннего кармана пиджака маленькую красную книжечку с выдавленным на обложке большелобым профилем. С какой гордостью я держал в руках эту книжечку почти три года назад, когда получил её! Быстрым шагом подошел я к столу и, размахнувшись, швырнул эту книжечку на стол. Швырнул – и вышел.

То, что приятно вспомнить, не забывается.

Еще я помню, как выйдя из института, присел, поджидая троллейбуса, на одной из нижних ступенек лестницы. Сидел я сбоку, опершись о стену. Отсюда открывался отличный вид: широкий мраморный каскад лестницы, ортал с его античными колоннами... Дворец... Храм науки, вспомнил я. Господи, с каким восторгом, с какими надеждами поднимался я по этим ступеням полтора года назад! А сейчас? Бесправный, изгнанный, сижу у подножья храма. И что же? Я несчастен, унижен? Да нет же! Сейчас я вспоминаю о своих восторгах и надеждах, как о давней мечте, не более того. Вспомнилась, взбудоражила на мгновение сердце и ушла, растаяла. Что поделаешь, другие ожидания и надежды вытеснили ее, теперь моя душа полна ими.

Подходил троллейбус. Я подбежал к остановке.

* * *

С этого дня я уже не посещал институт. Но в конце апреля мы зашли туда вместе с отцом: документы для ОВИРа были собраны, не хватало единственной справки – моей. Мы шли по коридору и вдруг столкнулись с деканом. Я думал, он пройдет мимо, «не узнав» нас, но декан остановился и, разведя руками, спросил тоном доброго, заботливого знакомого: «Куда вы пропали? Справка давно вас ждет»...

Глава 12. «Ты навсегда в ответе...»

Я сидел на корточках напротив Тайшета. Уткнувшись мордой мне в лицо, он жарким дыханием обдавал мои щеки. Я то поглаживал его мохнатую грудь, то почесывал за ухом, то просто прижимался щекой к его морде. Из моих глаз текли слезы, я старался перестать плакать – и никак не мог. Печаль переполняла меня. Печаль и горькое чувство вины...

* * *

Три года назад, когда я перешел в десятый класс, отец неожиданно решил сделать мне подарок.

– Хочешь собаку? – спросил он однажды...

Сердце мое прямо-таки дрогнуло. Хочу ли! Дедов Джек был общим дворовым псом, но я тосковал о нем, как о старом друге. Да он и был мне другом. Как же еще назвать собаку, которая как-то раз вытащила из своей миски косточку и сунула ее мне чуть ли не в рот? А Леда? Любимица всех ребят, красавица, умница, она жила когда-то в подвале нашего чирчикского дома. Было это давным-давно, целое детство назад, но я помнил Леду, её щенков, наши с ней игры, помнил, как горевал, когда Леда внезапно исчезла. Словом, я всегда тянулся к собакам, мечтал иметь дома четвероногого друга. И вот, кажется, он появится...

А повезло мне потому, что у одного из учителей в папиной школе разродилась сучка. Это была немецкая овчарка, к тому же очень чистой породы с прекрасной родословной, насчитывающей чуть ли не пять поколений. Таким же знатным кобелем был и папаша. Сучка рожала и в прежние годы, что, возможно, приносило хозяину доход, но на сей раз он почему-то предложил щенков коллегам.

Выбирать щенка я отправился вместе с отцом. Хозяин привел нас в небольшую комнату, и тут же большая немецкая овчарка, увидев чужих, тревожно поднялась с подстилки. Как было не тревожиться! По всей комнате ковыляли её щенята. Пушистые, кругленькие, они тоненько повизгивали, тыкались носами в пол, хвостики их смешно подрагивали, ушки свисали на черные мордочки.

– Сидеть! Место! – строго приказал овчарке хозяин. – Проходите, не бойтесь, она не тронет...

Я уселся на пол, одного за другим брал в руки щенков, гладил мягкую, как пух, шерстку. Ладони ощущали их теплоту, а вместе с нею почему-то и их беспомощность. Какая-то беспредельная радость, смешанная с нежностью и волнением, охватила меня.

– Ну, Валера, выбрал? Олег, ты какого посоветуешь? – деловито спросил отец.

Хозяин засмеялся.

– Амнун Юсупович, они ведь одной породы. Пусть парень сам выбирает!

– Сейчас... – пробормотал я.

Выбирать было очень трудно, мне все щенки казались замечательными. Я переводил глаза с одного на другого, щенки в это время непрерывно перемещались, мешая сосредоточиться. Вдруг мне почудилось, что кто-то пристально смотрит на меня сбоку, почти сзади... Я обернулся. Метрах в двух от меня сидел щенок, очень смешно сидел, на попке и на задних лапах, приподняв передние и как бы развалившись. К тому же когда я взглянул на него, он уморительно зевнул, открыв пасть и высунув красный язычок. Вот увалень, подумал я. Разве так сидят породистые собаки? И в тот же момент что-то ёкнуло в моем сердце, иначе никак не передать, что со мной случилось, когда я взглянул в большие, круглые, неморгающие глаза этого смешного песика. В них было бесстрашие. Я протянул ладонь к его мордочке, почувствовал на пальцах теплый и мягкий язычок. Все было решено.

– Можно его?

– Кобеля, только кобеля, Валера! – озабоченно сказал отец.

Я приподнял щенка, поглядел и, вздохнув с облегчением, повернул его животиком к отцу...

* * *

– В этом доме со мной никогда не советуются!

Обычно этот мамин укор обращен к отцу, но сейчас он в не меньшей степени относится и ко мне. Мы только что принесли щенка, были встречены восторженным Эммкиным визгом и смехом, но мама приняла нового члена семьи довольно сурово.

– Чем я его буду кормить? Он запрудит всю квартиру! А куда его выпускать?

– На балкон, мама, на балкон! Ты, главное, не переживай. Это же мой щенок, я сам буду убирать! И вообще всё...

– И я тоже, мама! – Эммка уже не улыбалась. Тревогу и волнение выражало не только её лицо: как и всегда в таких случаях, вся она напряглась, вытянулась, словно по стойке «смирно», оттопырила у бедер кулачки опущенных ручек, отчего ручки стали напоминать крылья пингвина. Щенок Эммке ужасно понравился. Еще бы, в доме появилась новая живая игрушка, а угроза лишиться её была совершенно реальной. Однажды мы это уже испытали.

Лет пять назад соседка подарила нам кошку. Рыжую, с пушистым хвостом. Родители были от подарка не в восторге, но мы их умолили.

– Поиграете с ней, погладите, тут же мойте руки, – предупредил отец. – Каждый раз!

Мы обещали. В первый день я бегал в ванную комнату раз десять. На второй – забыл. Кошку отдали соседке...

Родители, особенно мама, были людьми очень чистоплотными. И все же я думаю теперь, что их отношение к домашним животным было результатом воспитания, привычных представлений. Не знаю, как насчет кошек, но собак в бухарско-еврейских семьях не принято было держать дома. Держали только во дворе, как Джека у деда Ёсхаима. Я не уверен, но, может быть, животные в доме – это что-то нечистое с точки зрения религии.

Но на этот раз и отец был на нашей стороне, и щенка-то взяли породистого, у отцовского коллеги. Словом, мы победили.

С этого дня началась у нас с Эммкой совершенно другая жизнь. Очень трудная и очень счастливая. Я до сих пор убежден: мы находились в таком же состоянии, как родители новорожденного ребенка... Пусть меня осудят за сравнение те, у кого никогда не было щенка!

Хорошо, что наступили каникулы, а то бы мы просто не справились. Первый день вообще был ни с чем не сравним. Вернее, не день, а сутки. Мы носились, как угорелые, добывая вещи, необходимые для щенка. На кухне я взял – без разрешения – две эмалированные миски для питья и еды. Мама смолчала, но, когда пропала и её расческа, спросила: «Может, и платье мое возьмешь?» На балконе под окном появилась мягкая подстилка. В дальнем от нее углу мы с Эммкой толстым слоем расстелили газеты: здесь, решили мы, будет щенячий туалет... Наконец, мы управились, щенок вылакал из мисочки почти все молоко, что имелось в доме, и принялся обследовать веранду, обнюхивая каждый уголок. То и дело он возвращался к нам с Эммкой и тыкался в нас носом. Проверял, очевидно, на месте ли новые «родители», а также сообщал, что доволен нами.

Наступил вечер, щенок задремал на подстилке, мы тоже отправились спать, плотно закрыв дверь балкона. Только я начал засыпать, как услышал: скулит...

Над вершинами деревьев поднялась луна. Сквозь распахнутое окно балкона льется серебристый лунный свет. Щенок, калачиком свернувшийся у меня на коленях, освещен так ярко, что я вижу каждую его шерстинку. Подрагивает животик: напугался, бедняга, когда

остался один, без мамки, спит беспокойно. Мягкий, теплый, согревает мои ноги. А пахнет от него удивительно приятно, такой нежный, детский аромат... Я наклоняюсь, принимаю. Животные по запаху распознают своих детей, вот бы и мне научиться.

Не знаю, сколько прошло времени – луна уже ушла, когда я тихонечко переложил его на подстилку и отправился спать. Но проснулся, как мне показалось, почти сразу: щенок снова скулил да как! Голос у нашего младенца был не из слабых. Я кубарем скатился с постели и бросился на балкон. Оказалось, что уже утро, хотя и раннее.

– Валера, я его уже накормила... А он еще хочет, а молоко кончилось! И посмотри, что он здесь натворил!

Подумать только, Эммка была уже здесь. Вот молодец-то! Но щенок, действительно, хорошо без нас поработал. Весь пол на балконе был покрыт мокрыми пятнами и клочками разорванных газет. Да, «туалетом» щенок воспользовался по-своему. Очень довольный, он подбежал ко мне, виляя хвостиком и запищал. Сообщил, что хотел бы поесть. Так... С чего же начать? Сегодня – воскресенье, магазин откроют в семь утра. Лучше пойти пораньше: по выходным за молоком всегда очередь, может и не хватить. Но и убрать надо немедленно, а то мама встанет и... На балконе сейчас уже вовсе не детством пахнет! Еще вчера вечером мама печально распростилась с любимой половой тряпкой и с ведром. Любые предметы домашнего обихода, которые мы берем для щенка, заявила она, для общего хозяйства уже непригодны. Хорошо, если маме так хочется, пусть покупает себе новое ведро... Словом, мы с Эммкой как могли справились с уборкой, потом сестрица осталась за няньку, а я бросился в магазин. Очередь, как я и думал, уже стояла на улице. Разговоры шли обычные. «Много привезли?» – спрашивали одни. «А детское молоко есть, не видели?» – волновались другие.

Молоко для новорожденных, подумал я. Ведь оно с витаминами и еще с чем-то там очень полезным... Замечательно! Буду брать его для щенка! Но в магазине меня постигло разочарование: детское молоко, оказывается, продают по специальным талонам только тем, у кого имеются малыши. Щенки в эту категорию, увы, не входят. Хорошо, что хватило обычного молока. Ну а если не хватит завтра? К нам ведь когда-то ходила молочница, вспомнил я, возвращаясь домой. Обязательно надо её найти!

Щенок лакал жадно, но еще неумело. Голова его ходила по миске, брызги летели во все стороны. Эммка веселилась, мы оба наслаждались зрелищем. Тут на балкон вошла мама. Придирчиво оглянулась вокруг, слава богу, что не пришла сюда час назад, осталась, кажется, довольна и под села к щенку. Медленно проведя ладонью от его головки до хвостика (а он лакал себе, как ни в чем не бывало), она сказала:

– Песик, песик! Теперь ты покажешь моим детям, что значит растить малышкой... Что ж, это неплохо, а-а? – И снова погладила щенка каким-то удивительно материнским движением руки.

Мы с Эммкой переглянулись... Ясно было, что щенок окончательно признан членом семьи.

* * *

Назвать его я решил Тайшетом, как посоветовал мой старый друг Витька Смирнов. Тайшет звучит красиво, это сибирский город, а Сибирь – суровый край. Значит, подходящее имя для овчарки, большой и сильной собаки.

Впрочем, до большой и сильной было еще далеко. Все это лето, как и предсказала мама, мы непрерывно были заняты своим младенцем.

Нередко мы делали глупости. Например, сразу же принялись учить Тайшета пользоваться «туалетом», то есть газетами в углу балкона. Установили дежурство, уходили с балкона только по очереди. И как только Тайшет расставлял задние лапы (задирать ножку он начал позже),

Эммка или я хватали его – и ставили на газету... Тайшет исправно плакал, но через десять минут лужа появлялась в другом месте. Решили наказывать – тыкали щенка носом в лужу и относили на газету... Никакого результата! Мы возмущались: «Что ты за дикарь!» Но это мы были дикарями! Не потрудились узнать (что бы того же Олега расспросить), что собаки, в отличие от кошек, не могут научиться пользоваться дома туалетом, и если уж ты завел собаку, выводил её почаще на улицу. К счастью, через какое-то время Тайшет стал терпеливо дожидаться прогулок.

Рос он не по дням, а по часам. Иногда мы с Эммкой замечали мельчайшие перемены, иногда вдруг спохватывались: «Смотри-ка, а у него...». Вот так мы вдруг заметили, что у нашего черного щенка появилась вокруг глаз и на шее белая шерстка. При этом шею у самой груди обвивала черная полоска. Будто лента, увешанная медалями, горделиво думал я. Однажды утром меня разбудила Эммка (сестричка любила поспать, а теперь нередко вскакивала раньше меня): «Скорее, скорее! Ты спишь, а у Тайшета ушко встало!». – «Врешь небось!» – сказал я на всякий случай, но тут же отправился на балкон. День, когда у щенка встают уши – это долгожданное событие, праздник! У немецких овчарок уши начинают крепнуть к третьему месяцу и на исходе месяца уже стоят торчком, а не лежат на щеках. У Тайшета пока лежали... Висели они и сейчас, когда он бросился мне навстречу – веселый, сытый, причёсанный Эммкой.

– Ну, – начал я с насмешкой, – тебе бы только придумать... – и увидел, что у Тайшета с правой стороны поднялся над головой большой треугольник, покрытый изнутри нежной шерсткой! Правда, Тайшет кинулся лизать меня, и ушко тут же упало. Ну, ничего, ведь человеческий детеныш, первый раз встав на ножки, тоже то и дело плюхается! Вскоре мы уже любовались замечательной картиной – торчком стояли оба уха. Они были чуть ли не больше морды Тайшета.

Тайшет, теряя младенческую прелесть, превращался в красивую собаку. А мы с Эммкой... В собаководов – хотел я написать, но, пожалуй, это было бы хвастливо. Мы, конечно, очень старались, но и ошибок делали, вероятно, немало, вроде той, первой, с туалетом. Литературу о воспитании собак я купил сразу и изучал её, конечно, гораздо внимательнее, чем свои школьные учебники. «В первую очередь приучите щенка к его кличке. Положите на ладонь кусочек лакомства, поднесите собаке. Пока щенок занят едой, гладьте его и произносите его имя»... С этого началось. И пошло! Команда «место!» оказалась для Тайшета чуть ли не самой трудной, впрочем, может, как и для каждого здорового щенка. То надо было погнаться за мухой, то собственный хвост отвлекал.

Кормление пса тоже должно совершаться по правилам. Но когда Тайшет перешел с молочной диеты на обычную пищу, мы перестали их соблюдать. Ну, как можно было, обедая на балконе, спокойно глядеть на Тайшета, который сидит, поскуливая, возле стола? И почему он должен питаться после нас, обедами?

– Валера, почему ты перестал есть? – спросила в один из таких дней мама. – Наелся? Да у тебя почти полная тарелка плова... Как, Эмма, и ты уже сыта?

Мамина доброта, как и обычно, победила в единоборстве со строгостью. С этого дня, готовя обед, она включала Тайшета в число едоков и единственное чего требовала, чтобы мы его порцию перекладывали с тарелки в миску.

Закончились каникулы. И нам, и Тайшету пришлось менять режим. Конечно, он избаловался, проводя с нами целые дни, сидеть одному было для бедняги просто мукой. Первую прогулку я, как и летом, совершал с ним в шесть утра. Еще одну, до нашего возвращения из школы, мама или отец. Даже и он любил гулять с Тайшетом, ведь нашим красавцем восхищались все соседи. Но дома щенок тосковал ужасно! Хотя перед уходом мы оставляли ему еду и воду, Тайшет к ним почти не притрагивался. Да и я теперь с нетерпением ждал конца уроков. Домой не шел, а бежал. И до чего же приятно было увидеть в окне балкона черную удлиненную морду с торчащими вверх ушами! Если я был еще за деревьями, и он меня не замечал,

я начинал насвистывать «Марш Фараонов» Верди. Тайшет уже хорошо помнил эту мелодию и при первых же её звуках начинал озира́ться, лаять... Махая ему, я мчался к дому, бегом по лестнице, пулей – на балкон. Тайшет прыгал навстречу, лапами на плечи, языком в щеки, и только излив свои чувства, отбегал к мискам, чтобы жадно попить и поесть.

Потом начинались игры. Всех не перечесать, конечно, и я не знаю, кто из нас больше радовался им. У Тайшета одной из самых любимых была игра с пустой миской для еды. Он бил по ней лапой, переворачивал, а потом начиналось что-то вроде хоккея. Довольно шумная игра, я тоже принимал в ней участие, но обычно в роли болельщика. Однако в других играх мы выступали на равных. Я хватал, например, Тайшета за шею пониже ушей и начинал теревить, а Тайшет норовил ухватить меня то за одну, то за другую руку. Я погружал ладони в его густую, мягкую шерсть, и блаженное ощущение этого теплого, пушистого наполняло меня, я плавал в нем. Когда острые зубы Тайшета захватывали всё-таки мою кисть, я нисколько не пугался. Ну, больновато, конечно, но я чувствовал, как осторожен Тайшет, понимал, что он не сожмет челюсти, не прокусит мне руку. А мог бы, хватка его становилась все сильнее. Пес давал себе волю, когда вытягивал из моих рук то полотенце, то палку. Это тоже была богатырская игра, и в ней все чаще побеждал Тайшет.

Скоро Тайшет стал таким большим и сильным, что я не всегда мог удержать его на поводке. Если, скажем, по щенячьему легкомыслию он забывал о команде «рядом», увидев что-то очень соблазнительное на другой стороне улицы.

– Силён, силён, хорош, – приговаривал Олег, прежний хозяин Тайшета, когда заглядывал к нам. Однажды он предложил мне поехать с Тайшетом в Ташкент на какой-то там смотр или выставку породистых щенков. Но я в тот день почему-то никак не мог пропустить школу, Тайшета повез сам Олег. Досадно мне было ужасно. Целый день я думал, как они там? Я уверен был, что лучше, сильнее, красивее Тайшета не найдется в Узбекистане щенка! Вот Олег выводит его на площадку и... А ведь мог бы я вывести его и стать участником триумфа! Так оно и вышло: Тайшет завоевал первое место. Поздравляли победителя всей семьей, даже тортом угостили.

* * *

...Сижу сейчас и думаю, почему я не написал о Тайшете в своей первой книге, где рассказывал о школьных годах, а вспомнил о нем лишь теперь, дойдя до нашего отъезда? Может, память о старом друге лежала в запертом сейфе подсознания вместе с чувством вины? Не знаю...

Дело в том, что с Тайшетом я расстался, когда мы об отъезде еще и не помышляли, задолго до нашего последнего прощания. Случилось это летом, когда я закончил школу. Уже во время экзаменов стало понятно, что мне некогда заниматься собакой. Некогда было и родителям, да и не очень-то они, а тем более Эммка, справлялись с таким здоровым псом. А впереди были экзамены в институт и, если я поступлю, мой отъезд в Ташкент... На кого же оставлять собаку?

– Я просто не смогу, Валера, – печально говорила мама. – Я и на улицу-то с ним выходить боюсь!

Как ни горько было, пришли к решению: Тайшета надо отдать... Одно только непонятно: почему мы не подумали об этом год назад, когда брали собаку?

К концу июля отец нашел человека, который хотел завести немецкую овчарку. «У него большой двор, – говорил отец, – Тайшету там будет хорошо». Да, хорошо... Тайшету предстояло из баловня семьи превратиться в дворового сторожевого пса...

Я не вышел к подъезду, когда Тайшета сажали в машину. Я слышал, как он упирался, скулил. Мне тоже хотелось скулить. Потом была бессонная ночь, мне казалось, я слышу какой-

то шорох на балконе, я выбегал с бьющимся сердцем, садился на стул. Не было Тайшета, не было его подстилки, миски – всё отдали новому хозяину. Оставался только запах Тайшета. Его нельзя было отдать.

Через три дня новый хозяин Тайшета позвонил мне: «Приходи, он не ест и не пьет»... Я помчался на другой конец города, жалость и раскаяние раздирали меня. А уж когда я увидел Тайшета... Он лежал, изможденный голодом, а еще больше, наверно, тоской. Увидев меня, поднялся, стал лизать мои руки. «Ах я подлец!» – думал я. А сам бормотал: «Ешь, Тайшетик, ешь! Попей водички скорее... Нельзя же так...». Он понял, стал жадно лакать воду, потом поел – хозяин принес миску свежей еды, – но все время поднимал голову и глядел на меня.

Как уж мы расставались, об этом и вспоминать не хочется. Через неделю я снова его навещил. Тайшет все еще был исхудавшим, но всё-таки уже начал есть. Договорились, что если надо будет, хозяин позвонит мне. Но он не позвонил, и вскоре я уехал в Ташкент на вступительные экзамены, а, возвращаясь домой, хоть и думал, конечно, о Тайшете, не навещал его. И надо ли объяснять, почему? Но сейчас, перед отъездом, почувствовал, что мне обязательно нужно проститься с ним.

Он не сразу меня узнал, ведь прошло почти два года. Но как только я засвистал марш Верди, заскулил и бросился лизать меня. Совсем как прежде, будто я вернулся домой из школы.

Да, мне было больно, тяжело, я тоже дорого заплатил за свое предательство. Ведь никак иначе это и не назовешь. И совершил я его в тот день, когда взял на руки пушистый, теплый комочек и принес его в свой дом.

«Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил»... Так, кажется, сказано об этом у Сент-Экзюпери в «Маленьком принце».

Глава 13. Молитвенник

Дед Ёсхаим ужинал, а мы с бабушкой Лизой сидели поблизости на диване в почтительном молчании. Стул под дедом поскрипывал сильнее, чем обычно, и чавкал дед громче обычного, и раздраженно брякал ложкой о тарелку. Ел он, впрочем, с аппетитом, как всегда, и гневался не из-за плохого ужина.

Дед чавкал и сопел, но молчал. Молчали и мы с бабкой.

– Сволочи! – сказал наконец дед и отодвинул пустую тарелку. – Сволочи, сколько продержали! А все из-за тебя... На жаре целый день простоял! Будка весь день заперта... Понимаешь, что ты наделал?

Не спуская с меня сурового взгляда, дед откинулся на спинку стула, обтёр усы и бородку. Я печально вздохнул, виновато опустил голову, всем своим видом выражая раскаяние, но с облегчением подумал, что дед не так сердит, как вчера. Сердит, конечно, но уже не в такой ярости. Еще бы, ведь сегодня он победитель!

Вчера мы сдавали в ташкентскую таможенную свой багаж, то есть не тот, который собирались взять в самолет, а тот, что отправляли отдельно. Два больших фанерных ящика были доверху набиты одеждой и прочим домашним добром. Собирала вещи мама. Но и я кое-что положил в эти ящики, в том числе – любимые книги. Немножко поколебавшись, я присоединил к ним молитвенник с дедовой полки. Мне с детства нравились его пожелтевшие страницы и особенный сладковато-пыльный запах, какой бывает только у старинных книг. К тому же на разделенных пополам страницах молитвы были напечатаны и на иврите, и на русском языке... Дед этим молитвенником не пользуется, думал я, а раз не пользуется, значит, ему он и не нужен... А я вот возьму да и почитаю! Облегчив свою совесть такими рассуждениями, я взял книгу, не спросив разрешения у деда. И именно эту книгу, проверяя содержимое ящиков, объявили на таможене той ценностью, которую нельзя вывозить из страны!

Вывозить запрещалось многое драгоценности, антиквариат, произведения искусства. В этот же список, о чем никто из нас не знал, входили и многие книги, не только старинные, но даже изданные до определенного времени уже при советской власти, а также какие-то издания, перечисленные в особом списке... Дедов молитвенник издан был в 1917 году и, конечно, считался старинным. Чтобы вывезти его, требовалось разрешение министерства культуры, ни больше ни меньше... Так сказали нам на таможене. Родители не поверили, возмутились, отец, конечно, начал спорить. Это, разумеется, не помогло. Мало того – книгу нам не вернули, объявили, что она конфискована. Почему, на каких основаниях? В суете, нервозе, спешке родители про то и не спросили.

Зато сразу же спросил об этом разгневанный дед Ёсхаим. И, конечно, накричал на меня, как посмел я без спроса взять Священную книгу. Потом стал выяснять у родителей, где находится таможенник.

– Зачем вам?

– Завтра, – сказал дед, – пойду заберу.

– «Заберу»... Нет, вы только послушайте! Он думает, что таможенник возвращает конфискованные вещи! Только грубостей наслушаетесь... Стоит ли портить нервы из-за какой-то одной книги? – отговаривали деда и отец, и мама.

Но дед Ёсхаим сжал кулак и, помахивая им в такт своим словам, заявил, что Священную книгу в руках бандитов не оставит.

Ушел он с утра, а вернулся только к вечеру, когда мы с бабкой Лизой (родителей не было дома) уже изнывали от беспокойства.

Вернулся и молча положил на стол молитвенник...

Сейчас Священная книга лежала возле него, и дед, ужиная, то и дело на нее поглядывал. А мы, как я уже сказал, смиренно сидели на диване. Я понятно почему. Бабушка Лиза – из осторожности. Когда дед всерьез рассержен, бабушка тут же становится кроткой, как ягненок. Она с мужем говорит ласковым голосом, ни о чем не спорит, денег – упаси боже! – не просит. Перед глазами не маячит: либо во двор выйдет, либо сядет на диванчик.

Бабушка выждала, пока дед закончит меня отчитывать и, привстав, протянула руку к тарелке:

– Ещё?

Но дед нетерпеливо махнул рукой: не хочу, мол. Он уже наелся. И теперь хотел выговориться. Дед был неразговорчив, но сегодняшние приключения переполняли его. О схватке с таможенниками необходимо было рассказать.

– Дурачками притворились. «Какая книга?» А-а?! Не знают, какая!! Говорю: «Священная книга... Не имеете права!»... – И дед стукнул кулаком по столу.

Я представил себе, с каким изумлением глядели таможенники на разгневанного старика. Они привыкли, что все лебезят перед ними, униженно о чем-то просят, смиренно выслушивают грубости, суют деньги. А тут... Седобородый, с яростными глазами под насупленными бровями, дед похож был на карающего грешников ветхозаветного Бога, каким изображали его на старинных картинах. Такого посетителя таможенники никогда не видывали. С непривычки они, возможно, даже перепугались. А уж растерялись – точно. По крайней мере вариант «какая книга?» больше не упоминался. Избрали другой: протянуть время, накормить «завтраком»...

– Говорит, «завтра приходи»... А-а? Ищешь ты-и, завтра! Я на жаре почти весь день простоял! За-а-втра... Говорю, ищи мою книгу! Сейчас ищи. Не уйду, пока не отыщешь! И не ушел. Стою, кричу на них, где моя книга? Отдайте книгу! И вот...

Дед положил свою искореженную, со скрюченными пальцами руку на ветхий переплет. Придвинув к себе молитвенник, он открыл его и торжественно, громко, начал читать что-то. Вероятно, благодарственную молитву Всевышнему.

Я слушал, стараясь не шевельнуться. Я тоже был весьма благодарен Богу: пронесло, дед успокоился...

* * *

Разрешение на отъезд мы получили по сравнению с тысячами других людей фантастически быстро. Через сорок пять дней после подачи документов! А люди ждали долгие месяцы, иногда даже годы. Так что нам удивительно повезло. Но Ташкентское отделение ОВИРа хороших новостей по почте не сообщало. Было прислано краткое приглашение явиться тогда-то. Поэтому мы находились в большом волнении и беспокойстве: вызвать-то могли по многим причинам! Неправильно заполнена анкета, не хватает какой-то справки... Да мало ли что? А вдруг сообщат об отказе?

Отец отправился в Ташкент (мы еще жили в Чирчике), и я поехал с ним. Мы подошли к одноэтажному зданию ОВИРа – Отдела Виз и Разрешений – и слышали гул голосов. Под большим тенистым дубом множество людей ожидало своей очереди войти в здание. Стояли и сидели группами, поодиночке, многие нервно перебирали в руках бумаги. Кого только не было в этой толпе! И светловолосые немцы, и смуглые греки. Но преобладали, конечно, евреи. Преимущественно бухарские, хотя попадались среди них и евреи европейские. Узнавал я их легко. Их лица не имели той азиатской смугловатости, вообще того сходства с узбеками или таджиками, которое приобрели мы. Да и одевались они элегантнее, мужчины были при галстуках, хорошо выбритые. Даже разговаривали европейские евреи в своих группках много тише, чем их бухарские сородичи.

* * *

Я с «европейцами» близко познакомился в институте, где училось немало таких ребят (в моей группе – Оля Сандлер, Полина Гергель, Коган, Школьник). Уже тогда я понял, что выходцы с Запада отличаются от нас и внешностью, и манерами, и лучшим знанием русского языка, а нередко и более высоким культурным уровнем. Это же ощущение немножко другого быта, другого стиля, что ли, возникло у меня и в тот день, когда я попал домой к Лёньке Школьнику.

Лёнька зазвал меня как-то после занятий, когда уже стало известно, что мы уезжаем.

– У меня новая «Акая». Хочешь послушать?

Еще бы не хотеть! Стереомагнитофон прославленной японской фирмы! На него интересно было и просто поглядеть! Но когда мы пришли, оказалось, что я, будущий «отъезжант», интересую Лёнькину маму, Фриду Наумовну, не меньше, чем меня интересует магнитофон «Акая». Фрида Наумовна тут же усадила нас с Лёнькой пить чай... Как вкусно и красиво было все, что она приготовила и подала на стол! Какой фарфоровый сервиз, какие изящные чайные ложечки! Да и вообще вся обстановка в доме чем-то, сразу даже и не скажешь чем, обращала на себя внимание, казалась немного иной, чем у нас и, может быть, поэтому более привлекательной. Удивила меня и Фрида Наумовна. Я знал, что она астматик, что сейчас у неё приступ в разгаре и думал, что увижу измученную, исхудавшую, словом, тяжело больную женщину, махнувшую рукой на свой внешний вид. А может, и не увижу, так как она скорее всего лежит в постели... Мне ли не знать, как худо астматику во время приступа! Однако Лёнькина мама встретила нас у дверей подтянутая, вполне ухоженная. Вот только дышала с трудом и похрипывала, именно так, как я ожидал. Но никакого внимания она на это не обращала, вела себя, как здоровая, угощала нас, хлопотала по дому. Это тоже было непривычно, я вспоминал отца во время приступов и других родственников, очень уж угнетенных своей болезнью... Не знаю, почему, но я и эту выдержку причислил к достоинствам европейских сородичей.

Впрочем, отъездом нашей семьи Фрида Наумовна интересовалась, как любая из бухарско-еврейских знакомых. Она тут же стала расспрашивать, есть ли у нас «зацепки». Я впервые услышал от нее это слово, обозначало оно родственников или друзей, которые не только вызов пришлют, но и помогут на первых порах в иммиграции. Оказалось, что Школьники тоже хотели бы уехать, но «зацепок» нет и они не решаются.

– Вы держите с нами связь, пишите, – сказала Фрида Наумовна, вздохнув. Видно, мысли об отъезде и о «зацепках» всерьез её одолевали. Да и вообще в то время любая информация «оттуда» – из Израиля из Штатов – ценилась очень высоко.

Потом мы с Лёнькой пошли к нему в комнату, и я вдоволь наслаждался «Акаей». Я глядел, как вертятся бобины, слушал, как из стоящих по углам комнаты колонок льются звуки мелодий популярной рок-группы «Бони М.», а Лёнька время от времени сообщал мне что-нибудь о достоинствах этой системы:

– Стерео, какой звук, а? И записывает так, и воспроизводит... Ты вот сюда встань, на середину...

Я послушно выходил на середину комнаты. Исполнялась песня «Солнечный». Действительно, в стереозаписи она звучала дивно! Мне начинало казаться, что я сам парю в звуках. То вздымал меня звон ударных тарелок из левой колонки, то подхватывала бас-гитара из правой. Вокал, соло-гитара, скрипки... Поток звуков из одной колонки, из другой, и вдруг сливаются они вместе мощной волной, обнимают тебя, уносят...

Видя, как я «тащусь», Лёнька сиял от гордости и удовольствия. Но, вспомнив, что мы, должно быть, скоро уедем, вздохнул и сказал:

– Везет тебе! Скоро ты и не такое сможешь слушать. Любые системы, диски навалом!

* * *

Сейчас, сидя под дубом возле ОВИРа, я вспоминал Лёнькины слова и со страхом думал: а вдруг откажут? Пройдет какой-нибудь час-другой, и все рухнет! Страх был смешной, детский. Мне, ужасно хотелось и джинсов, и хороших дисков, не говоря уж о такой роскоши, как стереомагнитофон. У меня ведь не было даже и простого пластиночного проигрывателя. Разрешение на отъезд представлялось какой-то волшебной палочкой: уедем в Америку, и сразу все будет! Я напряженно вслушивался, не выкликают ли нашу фамилию, а то еще пропустим, не услышим... Потом снова погружался в свои мечты. И вдруг...

– Юабов!

– Жди здесь, – каким-то сдавленным голосом сказал отец и шагнул к дверям.

Появился он довольно скоро и, махнув мне рукой, пошел почему-то не ко мне, а куда-то в сторону. Я бросился за ним.

– Ты куда? Отказали?..

Продолжая шагать, отец негромко сказал:

– Дали добро! Но не надо, чтоб все знали... – и, повернув ко мне голову, чуть-чуть улыбнулся.

Дали добро! А я даже не мог подпрыгнуть, крикнуть «ура!». Я тоже только улыбнулся чуть-чуть. Осторожность отца не удивила меня. Во время наших хлопот об отъезде я постоянно слышал дома: «тише, тише, как бы не узнали». Вот и теперь, получив разрешение на отъезд, отец боялся громко сказать об этом: а вдруг в толпе найдется какой-то тайный недоброжелатель, который захочет как-то напакостить ему?..

Да, в таком густом растворе недоверия друг к другу, страхов, унижительных, а иногда и нелепых, жили тогда миллионы людей.

Ликованье началось, когда мы вернулись домой. Закончилось ожидание, закончилось напряжение (конечно, почти сразу же и возникло, уже по новым поводам, но все же был момент разрядки). Маминой радости не было предела. Она кинулась к телефону, сообщать новость Марии. Мушесевы тоже получили вызов, на конец недели. Дай бог, уедем вместе, мечтали подруги. В этот день обзванивали всех родственников, назавтра принялись за дела.

* * *

Разрешение на выезд было действительным, кажется, девяносто дней, к тому же можно было просить о продлении срока, указав на какие-то серьезные причины, на болезнь, например, или ожидание родственников. Но мы этого делать не намеревались. Лихорадочные сборы начались тут же. Мама занялась ими с какой-то, я бы сказал, жадностью. Уже больше шести недель не ходила она на фабрику и, очевидно, казалась себе просто бездельницей. Два десятка лет многочасовые трудовые смены на фабрике и дома, смены ночные, недосыпание, все это постоянно, изо дня в день... Казалось бы, радуйся возможности отдохнуть хоть немного! Так нет, мама никак не могла привыкнуть к избытку свободного времени! Могла бы поспать утром, но вскакивала ни свет, ни заря и порой, стоя у окна, провожала почти завистливым взглядом людей, спешащих на работу. А то, сидя за обедом, вдруг вздохнет: интересно, как там? Надо бы сходить...

Теперь мама всю свою энергию вложила в подготовку к отъезду. Понимала она эту подготовку так: в новый мир, где предстоит начинать жизнь сначала, нужно приехать, имея с собой все необходимое. Все! И одежду, и то, на чем придется спать, и посуду... Денег-то для покупок не будет. Уж не знаю, как снаряжал свой ковчег Ной, готовясь к потопу, но думаю, что он не

прогадал бы, имея маму в должности завхоза. Мама ведь всегда была отличной хозяйкой и, борясь с нуждой, довела это качество до виртуозности.

Мама давно уже добывала информацию: что именно брать с собой. Начала переписку с троюродным братом, Ёсефом Яхобовым, который еще в 72-м эмигрировал в Израиль, а оттуда перебрался в Штаты. Как я понимаю, Ёсеф особо ценных советов дать не мог, потому как уже достиг некоторого благополучия, и на мамины расспросы отвечал исходя из этого. «Домогам чок», – сообщал он, что в переводе с бухарского означает: «живем в достатке». И еще: «пури сэри», то есть всего вдоволь... Вдоволь-то вдоволь, но за деньги ведь!

Предположим, если дядька не привирает, в супермаркете и вправду десять сортов кефира, а хлеба – двадцать (хотя это, думал я, уж точно враньё). Но за все надо платить! Наша семья имела право вывезти из страны около трехсот долларов на всех. А триста долларов, как писал нам тот же Ёсеф, – это месячная плата за квартиру в пригородах Нью-Йорка... Вот и купи что-нибудь! Словом, кроме вещей, необходимых для жизни, нужно было запасти вещи, которые можно продать. Не в Америке, что там продашь, а еще по дороге, в Италии. Неудивительно, что у мамы просто голова шла кругом. Вот, к примеру, посуда... Мама посоветовалась с Ёсефом, он ответил: «Возьмите только большой казан для плова». «Э-э, – подумала мама, – он по праздникам делает мужской плов, остальное его не волнует! А на каждый день нужны и маленькие котелки...» И однажды отец, зайдя на кухню, увидел, что мама обжигает на газовой плите старые домашние котелки. Делалось это примерно раз в год: за такое время на стенках и дне котелков образуется довольно толстый и совершенно не счищаемый слой копоти и сажи. Чтобы его убрать, пустой котел ставили на сильный огонь и калили до тех пор, пока этот слой не обугливался. После чего он довольно легко откалывался... Этим мама и занималась. Работа требовала времени и усилий.

– Ты что? – удивился отец. – Мы же вот-вот уедем... Выкинь это старье!

Мама сразу не ответила, была слишком занята: только что «отбелила» дно у котелка и теперь, надев толстую перчатку, устанавливала его на огне боком. Наконец, котел был утвержден, и мама, обтерев перчаткой потный лоб, сказала:

– Будут, как новенькие... Возьмем с собой.

Отец только рукой махнул. У него были свои дела, влезать в мамины он не хотел, тем более что она взвалила на свои плечи почти все хозяйственные приготовления к отъезду.

«Вж-ж-ж... вж-ж-ж... вжжж...» – жужжит, как шмель, мамина швейная машинка «Веритас». Сейчас мне все предотъездное время вспоминается под аккомпанемент этого звука. И так ясно вижу маму, сидящую за машинкой у окна в спальне. Она в цветастом халате, густые, до плеч, волосы падают на лоб... Склонилась к машинке, каждым движением своего тела управляя процессом шитья. Чуть покачивается, наклоняясь еще ниже, когда нажимает на педаль. Шея вытянута, лицо сосредоточенно, в губах кусочек нитки, который тоже все время «работает», вертится... А почему, непонятно, мама вроде бы губами не шевелит... «Вж-ж-ж... вж-ж-ж...»... Так она быстро строчит, в таком движении тело, что кажется: мама стремительно мчится на мотоцикле. А пальцы, пальцы... Как они снуют! И как близко к машинке! Глядеть страшно, кажется, игла вот-вот их прошьет... Кстати, так пару раз бывало – на мамином указательном пальце, у самого ногтя, остались два точечных шрама. «Иногда увлекаешься», объясняла она нам, детям.

Чего только не шила она перед отъездом! Сначала одежду. За мужскую мама не бралась, шила для себя и для Эммки: платья, юбки, халаты (яркие, в цветах – мама такие любила), фартуки... Да мало ли что еще? Мама же была первоклассная швея, и не просто мотористка, она и кроила отлично, на глазок, без выкроек. Возьмет в руки кусок материи, а то и какое-нибудь старое платье, приподнимет, прищурится и медленно скажет: «А зна-аешь, что из этого можно сделать? О-о, замечательную вещь!». И хватает ножницы. «Не ехать же раздетыми! А денег-то не будет первое время».

Покончив с одеждой, мама принялась за постельное белье. И тут соблюдалась строжайшая экономия: наволочки и простыни мама перешивала из старых. «А вот корпа придется делать из нового материала», – вздохнула она как-то с досадой...

Корпа? Тут я удивился.

Корпа – это такие тонкие матрасики, набитые ватой или шерстью. В Азии на них спят. Уж не знаю, с каких, но, вероятно, с очень древних времен. Спят, чаще всего, прямо на полу. Стелют корпа и на топчаны в садах, едят, сидя на корпа, скрестив ноги, а по ночам спят...

Все это я, конечно, знал. Но зачем нам корпа в Америке?

– Мама, да что ты? Неужели там кровати без матрацев?

– А ты разве был там? – Мамины брови приподнялись, на слове «там» указательный палец тоже поднялся вверх. Оказалось, что в пользу корпа мама имела веские доводы. Главный среди них был такой: слышала она, что другие «отъезжанты» берут их с собой. И не только корпа, но и корпача, то есть такого же примерно типа, только потоньше, одеяла. А раз люди берут, значит... Мы, что ли, хуже людей? Словом, спорить я больше не стал, и мы принялись за корпа.

Теперь я думаю, что кроме практических соображений, была у мамы и совсем другая, может быть даже неосознанная потребность увезти с собой корпа. Она спала на них в детстве, она с ними выросла. Корпа были милой и родной частичкой отчего дома...

...Мама – на своем рабочем месте, за швейной машинкой. Я – за ней, на кровати. Рядом со мной Эммка... Мама шьет на машинке новый чехол. Как всегда, очень быстро. «Вж-ж-ж... Вж-ж-ж...» несколько минут, и чехол готов. Теперь мы вдвоем вкладываем в него вату. Очень аккуратно, чтобы легла ровным слоем... Кстати, ради экономии вату мы используем ту, что была в старых матрасиках. Бугристые слои этой пожелтевшей ваты напоминают мне коровьи и бараньи мозги, которые продавались на базаре... Но самое неприятное впереди. Когда вата уложена, матрасик надо простегать. Это ручная работа, машинка не берет такую толщину. И этой неприятной работой занимаюсь я.

Новый корпа лежит у меня на коленях. Я протыкаю его из-под низу толстой иглой. Никогда до этого мне и в голову не приходило, что игла может быть таким противным, злобным существом! Войдя в вату, она так и норовит отклониться в сторону, а нужно ведь, чтобы прошла ровнехонько по вертикали и вышла сверху точно над тем местом, где вошла! Даже когда мне, казалось бы, удастся справиться с иглой, и кончик ее показывается сверху, там, где надо, – это еще не все, далеко не все. Попробуй-ка теперь вытянуть её до конца! То гнуться начинает, то внезапно впицается в палец... Я сосу палец и с тоской думаю: сколько же мне еще надо сделать стежков? Корпа метра полтора длиной и метр шириной. Стежки можно делать широкие, но не больше, чем в десять сантиметров. В длину надо простегать два раза, да еще и в ширину сделать рядов пять-шесть. Вот и посчитайте, сколько раз я заойкаю, уколов палец, сколько раз зашиплю от злобы, вылавливая из ваты ускользнувшую от меня иглу.

Вероятно, из-за того, что я злюсь, меня ужасно раздражает сидящая рядом Эммка. Вернее, то, как она работает, если то, что она делает, вообще можно назвать работой. Обидно ведь: большая уже девица, могла бы шить, как и я, так нет, на это она не согласна, она этого, видите ли, не умеет! Что же она согласна делать? Ниточки вдевать в иголки. Чтобы у меня перебоев не было с инструментом... Ну, не смех ли? Но почему-то и это занятие дается Эммке с трудом. Вдевая нитку в иглу, обычно прищуриваешь один глаз, а Эммка не может. Только оба вместе! Исподлобья глядя на иглу, она нацеливается в нее ниткой, как копьем... бац! И промахивается... Снова... Опять промах! И так без конца. Терпение у нее, надо признать, ангельское... Или её просто устраивает такое вот развлечение вместо работы? Она целится и целится, то приближая к себе иглу, то отдаляя, то широко раскрывая глаза, то сжимая их зачем-то в сторону... Ой! Опять я укололся, заглядевшись на ее гримасы... Да, нудное дело

питьё... Если я заявлю сейчас, что устал или что у меня, дескать, срочное дело, если встану и уйду, мама ни словечка не скажет, не упрекнет. Она такая. Будет дошивать сама...

Вздыхнув, я делаю новый стежок. Но тут хлопает входная дверь и в комнату входит отец с грудой пакетов в руках.

– Валер, гляди, какой я «Зенит» отхватил!

* * *

Удивительные, совершенно не представимые прежде ситуации стали возникать теперь в нашей жизни. Верхние полки большого шкафа-стенки в спальне родителей заполнили вещи, о которых мы никогда прежде и не мечтали. Тяжелые льняные простыни и пододеяльники, матрёшки и другие русские сувениры, фотоаппараты и портативные магнитофоны... Их появлению предшествовали долгие разговоры дома, между родителями и по телефону. «В Италии хорошо идет лён... Говорят, что «Зениты» охотно покупают»... И тому подобное.

Странность, вернее, даже нелепость ситуации заключалась именно в том, что все эти вещи покупались не для себя. Мы не могли, как жители любой другой цивилизованной страны, увезти с собой валюту, необходимую для устройства на новом месте. Это было запрещено. Нет, мы должны были все свои деньги, накопленные или вырученные за продажу домашних вещей, обратить в такие вещи, которые можно продать в Италии за твердую валюту. И пусть мои юные читатели (если таковые будут) не спрашивают, почему, вместо того, чтобы увезти с собой деньги (не говорю уж о чековой книжке и кредитной карте), мы должны были торчать на рынке в чужом городе, в чужой стране и на чужом языке предлагать покупателям простыни, фотоаппараты, матрёшки... Все равно не смогу объяснить! Таким вот диким образом Советский Союз отгораживался от проникновения в его экономику капиталистического Запада... Железная стена – что еще можно сказать? И пробивались сквозь нее люди, обдирая кожу, пускаясь на всяческие хитрости. Мы-то на самые простенькие, а те, кто был побогаче, те становились контрабандистами, просто потому что другого пути у них не было. Кому-то на этом скользком пути везло, кто-то горел ярким пламенем. Из уст в уста передавались истории о том, как некто пытался перевезти свои бриллиантовые кольца в банке с клубничным вареньем, другой додумался обить крышки фанерных ящиков с багажом полосочками, якобы железными, а на самом деле – платиновыми. Но бдительные таможенники разоблачили обманщиков. Ценности, конечно, конфисковали, а уж что сделали с владельцами – не знаю. Может быть, арестовали. Но выхода не было, люди продолжали идти на риск. Запрятывали ценности в куски мыла, в тубики с зубной пастой, в обувь, в женские прически и другие интимные местечки...

* * *

Моим родителям не пришлось обучаться контрабандистскому искусству. Богачами они никогда не были, на предотъездные покупки пришлось даже занимать деньги у родственников. Пряча в шкаф очередной комплект дорогого постельного белья, мама говорила:

– Сами-то никогда такими вещами не пользовались!

Что правда, то правда: все мы спали под дешевыми хлопковыми простынями.

Меня простыни не волновали, а вот тяжелый кожаный футляр с фотоаппаратом не хотелось выпускать из рук. Нравился мне и запах этой кожи, и ее блеск. Но еще больше нравился мне сам аппарат, «Зенит». Вот это был аппарат, не то что мой! Я еще был третьеклассником, когда отец подарил мне «Смену-15», примитивную штуку с ручной наводкой и перемоткой. Из-за этой самой перемотки я загубил свою первую съемку в Крыму, во время небольшого плавания на теплоходе. Легко себе представить мое горе, когда выяснилось, что из 36 снимков на пленке есть только первый. Остальные не получились потому, что я недокручивал колесико

перемотки. Но потом-то я неплохо освоился со своей «Сменой» и увлекся фотографией не на шутку. Купил бачки для проявления, корытца, фотоувеличитель. Ванная комната легко превращалась в фотолабораторию, достаточно было положить на ванну широкую доску... Впрочем, у какого советского мальчишки не было дома такой фотостудии? Отдавать пленки печатать было слишком дорого.

* * *

Соблазнительные предметы, лежавшие на верхних полках и предназначенные для Италии, конечно, не отправляли багажом. А все остальное имущество было, наконец, собрано, вывезено в Ташкент и однажды – наступил все-таки этот день – к дедову дому подъехал грузовик... Сначала в его кузов поставили два пустых фанерных ящика и уж тогда запихали в них вещи, а то уж больно тяжелый груз пришлось бы поднимать в машину. На таможен ящики снова пришлось опустошать... Как вспомню это зрелище – и смешно, и страшно становится. Пол в помещении таможни расчерчен на четыре квадрата. На один из них мы, суетливо и поспешно, выкладываем наше барахло. Усатый дядька, угрюмый и грубый, внимательно наблюдает за нами. Говорили, что таможенники охотно берут взятки и тогда становятся много приветливее и покладистее. Но родители не знали, как это надо делать, да и ничего особенно ценного мы не вывозили. Помню, как злобно сморщился отец, когда Юрка выронил один из маминых любимых котелков и он с грохотом покатился по полу. Но таможенник к котелкам отнесся спокойно, они явно были не из платины. Так что единственной нашей «контрабандой» оказался дедов молитвенник...

Глава 14. «Город, подобный раю»

Хорошо в гостях! Сладко спится на заботливо приготовленной для дорогого гостя постели, а если под утро раздаётся привычный внутренний голос: «Ой, пора вставать!» – тут же с облегчением слышишь ещё один голос: «Торопиться некуда. Спи себе, сколько душа пожелает!»

Увы, многолетняя привычка так в меня въелась, что первый голос, не сдаваясь, все зудил да зудил: «Вставай!» И победил...

Я открыл глаза и окончательно проснулся. Увидел себя в незнакомой спальне, услышал, как где-то близко воркует горлица... Ого, да не просто близко, а совсем рядом со мной! Видно, она знала, что здесь живут добрые люди, не побоялась свить гнездо в комнате, над косяком двери. Я с постели увидел торчащие из гнезда веточки!..

Да, второй внутренний голос не соврал, я мог бы спать себе и спать, торопиться было некуда. Со вчерашнего дня мы с мамой были в гостях у наших родственников в Самарканде.

Перед отъездом в дальние края мама хотела непременно побывать на могиле отца, наверно, уже в последний раз. Я поехал с ней. Я ещё никогда не бывал в Самарканде, хотя он не так-то далеко от Ташкента, всего часов около пяти езды на автобусе. Но вот когда с автобусной станции мы отправились на такси в Старый Город, к бабушке Бурьё, сестре бабушки Абигай, оказалось, что добраться до нее чуть ли не сложнее, чем до Самарканда. На одной из улиц таксист остановился и сказал: «Придется вам теперь пешочком. Я дальше не проеду... Вам на Мубаракскую? Вроде недалеко». То есть как это «не проеду», с удивлением думал я, пока мама расплачивалась. Но, оглядевшись, понял, в чем дело. Старый Город в Самарканде, очень похожий на Старый Город в Ташкенте, был много древнее, запутаннее, по-восточному колоритнее. Его узенькие улочки виляли, как горные тропинки между саманными оградами, за которыми почти не видно было низеньких домов, обращенных окнами во внутренние дворы. Улочки то поднимались на горку, то за поворотом ныряли круто вниз. От каждой из них разбегались в стороны переулки, иногда такие тесные, что из любых видов транспорта только осел мог пробраться между оградами... И по каждой улочке, по каждому переулку пробегал узенький, но звонкоголосый арык. На перекрестках они, естественно, пересекались. Какая уж тут езда? Так что свою Мубаракскую нашли мы нескоро, и то с помощью добрых людей.

Бабушка Бурьё... Мне смутно представлялось, как на похоронах деда Ханана плачет она, взывает к небу, поднимая руки и раскачиваясь. Она очень любила деда, как и он её. После похорон бабушка Бурьё провела с сестрой целый месяц. Но я-то жил в Чирчике и бабушку Бурьё позабыл, даже лица её не помнил.

Впрочем, узнал я ее сразу: они с бабушкой Абигай оказались похожи и лицом, и улыбкой, и движениями. А когда, нацеловавшись с мамой, она принялась за меня, я понял, что и «школу поцелуев» они проходили одну и ту же. Точно так же сияли её широко открытые глаза, точно так же, приподняв руки, приложила она ладони к щекам и совершенно такой же, знакомый поцелуй ощутили мои губы. Поцелуй нежный, сочный, сладкий, с тем же возгласом наслаждения: «Вах, вах, вах!». Словом, я сразу ощутил себя горячо любимым внуком и признал это родство.

Проснувшись в то утро, я потому и почувствовал себя как бы и в гостях, и в родном доме... Я еще полежал немного, слушая горлицу. В открытом окне над моей головой парусом раздувалась от свежего ветерка занавеска. Вместе с ветром донёсся до меня негромкий голос. Я выглянул... Маленькая, чуть согнутая фигурка в голубом платье и ярком платке на голове промелькнула по двору. Бабушка Бурьё уже на ногах в субботу, в полшестого утра! Да, подумал я, это дом раннего пробуждения. Как и наш, впрочем, как и дома моих ташкентских дедов. Все мы одной крови... Кстати, на следующее утро я проснулся так же рано, и снова бабушка

опередила меня: я услышал, как она шаркает по двору метлой. Накануне, в субботу, она, как человек религиозный, просто не могла подметать...

Субботу мы провели дома, с бабушкой Бурьё, её дочерью Соней и сыном Давидом, моим ровесником. Взрослых мужчин в доме не было. Бабушкин муж давно умер, а из шестерых ее детей четверо – еще одна дочь и три сына – жили отдельно. Соня же была незамужняя. Невысокая, полная Соня сильно прихрамывала и ходила с палочкой – у нее с рождения одна нога была с каким-то дефектом.

Выйдя с утра в небольшой квадратный бабушкин дворик, я сразу заметил, как не хватает здесь умелых мужских рук. В каждом углу двора что-нибудь было брошено. Возле виноградника лежали палки, у одной из стен дома – гора песка, чуть подальше – мешки с цементом, еще где-то – лестница и какой-то хлам. Видно было, что нелегко даются хозяевам ремонт и другие хозяйственные дела. Женщины старались держать двор и дом в порядке, а сил-то мало было.

Самым приятным местечком во дворе показался мне уголок возле летней кухни. Там на невысокой кирпичной печке попухивал чугунный котелок. И как же вкусно пахло из котелка! Немудрено, в нем варилось ошсво. Это блюдо, насколько я знаю, готовят только бухарские евреи и никто больше... Что такое ошсво? Ну, его можно было бы причислить к семейству пловов, так как в основе ошсво тоже мясо, рис и большое количество масла. Но вкус у этого кушанья совсем другой, потому что готовят его очень долго, больше двенадцати часов. Обычно его начинают варить под вечер пятницы, чтобы в праздничный субботний день ошсво было готово к обеду.

Ошсво готовили и у бабушки Лизы, и в нашем доме. Дед Ёсхаим очень любил это вкусное и сытное блюдо. Поест, бывало, и скажет: «После ошсво неделю ходишь сытым!» Меня это смешило: на другой же день дед охотно садился за стол. Да и в самом деле что за удовольствие есть всего раз в неделю? Смеяться-то я смеялся, но вот прошло много лет, и каждый раз, когда жена моя Света подает на обед ошсво я, наевшись до отвала, вспоминаю слова деда... Боюсь, что настанет время, и я, потирая старую, согнутую спину, буду бормотать, как бабка Лиза: «Проклятый спундилёз... Совсем замучил!»

И бабушка Лиза, и моя мама делали ошсво на обыкновенной газовой плите. А бабушка Бурьё внесла в приготовление этого блюда нечто новое: она варила его на углях, именно на углях, а не на дровах! Впрочем, может быть, в Самарканде так было принято? Не знаю. Но мне этот способ понравился. Я разглядывал угли, рдеющие в печке, наслаждался запахом пара и предвкушал классный обед. Я не ошибся. Когда мы уселись во дворе на топчане, а перед нами на столике с короткими ножками в большущей лангри появился окутанный паром ошсво... О-о, я и слов не найду, чтобы передать, как это было вкусно! «Хай, опа!» – приговаривала мама, покачивая головой и облизывая ложку. А мне и приговаривать было некогда. Мясо было нежным и сочным, даже косточки стали совершенно мягкими. Рис, пропитанный маслом, так и таял во рту. Но лучше всего была корочка, которая запеклась на дне котелка. По моим понятиям эта корочка и есть самый смак, самая суть ошсво. Конечно, если корочка удалась, если она поджаристая, но в меру, не подгоревшая и не жесткая. Именно такая и получилась у бабушки Бурьё. Да и вообще её ошсво, приготовленное на углях, оно чуть-чуть припахивало дымком, показалось мне гораздо вкуснее чем то, что я ел дома.

Наслаждаясь ошсво, а потом вытирая кусочками лепешки покрытое жиром дно лангри, я прислушивался к разговорам взрослых. Сначала во всех подробностях обсуждали наши приготовления к отъезду, волнующую тему эмиграции. А потом разговор стал неинтересным, надоевшим. Бабушка Бурьё и тетя Соня, давненько не бывавшие в Ташкенте, расспрашивали маму о родственниках. С близких перешли на дальних и... Пошло-поехало!

Вроде бы есть поговорка, что все евреи – родственники. Ну, это не так уж и удивительно, достаточно вспомнить, что все мы потомки Адама и Евы. Но это родство, так сказать, умозрительное. Бухарские же евреи ухитряются выискать даже среди незнакомых людей целую кучу

вполне реальных родственников. И до чего же любят это делать мои соплеменники, особенно пожилые! Я уже как-то упоминал об этом, рассказывая о дедѐ Ёсхаиме. О, дед Ёсхаим был одним из лучших специалистов по составлению генеалогического древа своей семьи!

Наверное, сотни раз за годы детства и юности слышал я, как происходят такие поиски на праздничных ли встречах у наших родственников и друзей или когда в доме появляется сравнительно новый знакомый. Я никогда не забуду, как усаживая такую гостью за стол (долгий и серьезный разговор лучше всего вести за чаем), бабушка Лиза откидывается на спинку стула, складывает руки на животе и спрашивает: «Шмо а трифи ки мэшет?» То есть кому и кем вы приходитесь, чья вы родственница... На лице у бабушки неподдельный интерес, на языке – десятки новых вопросов, которые позволят обнаружить возможное родство.

Интерес к этому неисчерпаем. Стоит кому-нибудь из собеседников назвать незнакомое имя, его тут же начинают расспрашивать: «А кем он вам приходится? А из какой он семьи?» Начинают искать хоть одну знакомую личность, как-то связанную с незнакомцем, хоть одно звено, которое поможет восстановить всю цепочку. И что же вы думаете? Расследования еврейских детективов нередко заканчивались успешно. Выяснялось, например, что сын от первого брака троюродного брата прадедушки одного из собеседников приходился родным братом прабабушке второго собеседника. Вот радость-то!

Иногда мне любопытно было слушать такие расследования, но чаще – смешно. Ну, нашла бабка Лиза еще одного родственника... Ну, найдет еще десять... К чему ей это? Что изменится в её жизни? Мне и сейчас эти многочасовые поиски кажутся не слишком интересными и не имеющими практического смысла. Однако же я думаю, что когда-то, в древности, был в них глубокий смысл. Может быть, в очень далекие времена евреи, рассеянные по всему миру, благодаря этим неустанным, настойчивым, непрекращающимся поискам встречали на чужбине соплеменников и родичей, обретали потерянных близких, получали возможность помогать друг другу?

От тех времен изгнания и рассеяния сохранилась потребность, ставшая привычкой. Так не будем же смеяться над ней.

* * *

Наступило воскресное утро, и тетя Соня повезла нас с мамой на кладбище...

Тут мне кое в чем надо признаться. В Самарканде я тогда был впервые и, казалось бы, неповторимый облик этого древнего города мог запомнить почти фотографически. Но... этого не произошло. Может, быть, из-за каких-то свойств памяти, а скорее потому, что я, юнец, был до макушки переполнен нетерпеливым ожиданием предстоящего отъезда, мечтами об Америке... До Самарканда ли мне было? Много лет спустя я снова ненадолго приехал в Узбекистан и побывал в Самарканде. Зрительные, туристские впечатления о первой и второй поездке после этого совсем уж перемешались. Вроде бы какая разница? Да просто я ничего в этой книге не хочу придумывать!

Попытался я, к примеру, сейчас вспомнить, что увидел, когда мы подъехали к еврейскому кладбищу, где похоронен был дед. Перед глазами – высокая стена с нишами, выложенная из прекрасного светло-коричневого кирпича. Прямоугольный, вдвое выше, чем стена, вход со стрельчатой аркой... Увидел я эту ограду, только когда приехал в Самарканд вторично, в начале 90-х годов: она была новая, её и построили-то в 80-х! Какой же была старая? Не помню...

А вот могилу деда я очень хорошо запомнил, не забылось и то щемящее чувство, боль, жалость, моя детская нежность к деду, с которым я к ней шел.

Путь был долгим. Опираясь на трость, прихрамывая, тетя Соня неторопливо вела нас по дорожкам между рядами могил. Я шел впереди. Мне почему-то непременно хотелось пер-

вым увидеть могилу деда Ханана. Дядя Авнер при мне напоминал маме, как её найти: «От входа налево. Потом по тропинке и под горку. Там на развилке, с правой стороны»... Но мы шли и шли по асфальтированной дорожке и никакой тропинки видно не было. Справа и слева мелькали надгробные плиты. Еврейские кладбища, особенно на Востоке, не отличаются разнообразием памятников. По законам иудаизма нет здесь ни скорбных ангелов, ни других изваяний, украшающих надгробия христиан. Над могилами просто стояли плиты. Те, что подревнее, были из простого белого камня и пониже. Новые – понаряднее, чаще всего из черного гранита, многие, вопреки строгим религиозным требованиям, с портретами усопших.

По кладбищу идти грустно, особенно людям немолодым. Мысли охватывают печальные, и не только об усопшем родственнике, но и о себе: кто, мол, знает, может быть, очень скоро... У меня, по правде сказать, таких опасений не было. Я был занят мыслями о деде, поисками его могилы. Вот широкая асфальтированная дорожка сменилась, наконец, узкой, пыльной тропкой, пошла под горку. Мелькали и мелькали надгробия, у меня уже рябило в глазах, а дедовой могилы среди них все не было.

– Куда же ты, Валера? Мы дошли...

Я обернулся. Мама и Соня стояли довольно далеко позади, в сторонке от тропы. Прислонив голову к кирпичному надгробью, мама тихонько всхлинула и сказала: «Здравствуйте, папа».

Памятник на могиле деда был очень простым, как и сам дед: белая мраморная ниша, обложенная кирпичом. И сама могила тихо и скромно притаилась в далеком и небогатом уголке кладбища. Наверное, я потому и прошел мимо, что ожидал чего-то более торжественного. Теперь-то я думаю: правильно сделали родные, дед выбрал бы именно такое место для вечного сна.

* * *

Мне и в голову не пришло бы пойти осматривать Самарканд, но надоумила тетя Соня. Она повела маму по магазинам за какими-то покупками (в каком бы городе мира ни оказались женщины, они непременно должны пробежаться по магазинам), а мне, чтобы не томился и не тратил зря время, посоветовала пойти на экскурсию. Молодая женщина с маленькой сумочкой через плечо привела экскурсантов – нас было человек десять – на площадь Регистана с ее знаменитыми медресе. Я шел, глазел, вертел головой то вправо, то влево, закидывал её вверх, к сверкающим голубыми изразцами куполам, слушал рассеянно, думал о чем-то своем... А как теперь жаль! Ведь я же рос мечтателем. Шагая по переулку к дедову дому, я сотни раз переносился в древние времена, в далекие города. Видел перед собой замки, дворцы, башни, сам становился фараоном. И вдруг в Самарканде, в легендарном, удивительном Самарканде, мой дар покинул меня!

Только много позже я заинтересовался Самаркандом и считаю, что просто обязан сейчас написать о нем хоть несколько строк.

* * *

«Один из самых древних городов мира», – пишут о Самарканде в путеводителях. Я бы к этому добавил: «Город, переживший множество трагических событий и бурных потрясений. Город, который завоевывали величайшие полководцы древности». Еще за 329 лет до нашей эры, то есть почти 24 века назад, Самарканд стал добычей Александра Македонского. Город назывался тогда Маракандом, он был столицей могучего государства Согдиана. Летописи утверждают, что прославленному Александру пришлось потратить два года, чтобы завоевать Согдиану, покорить Самарканд.

Современные ученые считают, что уже в те времена городу было не менее 200 лет. Об этом свидетельствуют остатки зданий и многие предметы, найденные на раскопках в городище, которое носит имя древнего легендарного царя, – Афрасиаб...

Сменялись века, сменялись державы и правители, под власть которых попадал город. В XIII веке нашей эры, в 1220 году, до Самарканда докатились орды Чингисхана. Город был обескровлен, сожжен, превращен в груды развалин. Больше века он оставался под властью монголов, но возродился из пепла, постепенно оправился... В конце XIV века – новое нашествие. На этот раз Самарканд был покорен завоевателем, еще более свирепым, чем Чингисхан. Это был Железный Хромец Тамерлан, Тимур... Как только его ни называли! Он мечтал о господстве над всем миром и тридцать пять лет, прокладывая себе путь огнем и кровью, уничтожая всё и всех на своем пути, захватывал страну за страной. Мир содрогался от его звериной жестокости.

Огромная империя Тимура простиралась от берегов Волги до Ганга, от Тянь-Шаня до Босфора. Но столицей империи Железный Хромец избрал Самарканд... Почему? Кто знает... Может быть, потому, что здесь пролегал Великий Шелковый Путь? Но ведь он проходил и по другим прекрасным городам Средней Азии...

Не думаю, чтобы местным жителям, особенно бедным, легко было жить «на глазах» у такого высокого и свирепого властителя. Но в историческом плане Самарканду, несомненно, повезло. Тимур с его невероятным тщеславием захотел сделать Самарканд красивейшим городом мира, «городом, подобным раю». Один за другим возникали великолепные ансамбли: некрополь Шахи-Зинда, состоящий из 11 мавзолеев, грандиозная мечеть Биби-Ханым, мавзолеев Гур Эмир – усыпальница Тимура, его детей и внуков – вероятно, самый знаменитый из архитектурных памятников Самарканда...

Эта величественная и своеобразная архитектура принадлежит мусульманской культуре, Востоку. Прекрасны голубые изразцы куполов, без конца хочется рассматривать изысканный орнамент, то растительный, то геометрический, украшающий стены зданий. Но описывать все это я, конечно, не стану, подробный рассказ об известных всему миру памятниках, их фотографии легко найти в книгах, альбомах, туристических буклетах. Но лучше всего – посмотреть на них своими глазами...

В историю человечества Железный Хромец вошел как чудовищно жестокий завоеватель, не знающий жалости и милосердия. Но прошли века, и любой из жителей Самарканда скажет вам, что благодаря Тимуру их город расцвел и прославился великолепной архитектурой. А внук Тимура – Улугбек, правитель Самарканда, остался в веках, как выдающийся ученый, просветитель, воин, государственный деятель... Сложная это штука история, в ней нет однозначных событий и простых ответов на вопросы...

На этом, пожалуй, я и закончу свою затянувшуюся хвалу Самарканду. Я не теряю надежды побывать в этом городе еще не один раз. Жаль только, что никогда уже мне не услышать, как ранним утром в спальне бабушки Бурё поет горлица и как шаркает по двору бабушкина метла.

Глава 15. «Я с ним не поеду»

– Ну, так... Давай-ка еще раз проверим. Четыре скатерти льняных...

Отец держит в руках стопочку тетрадных листков. Это списки вещей, которые мы поведем с собой, то есть помимо багажа, который уже отправлен. В списках поштучно перечислено, что лежит в каждом чемодане. А чемоданов всего шестнадцать, по четыре на каждого из нас. И сверяем мы их содержимое со списками не один и не два, а, наверное, по десять раз. Списки нужно будет предъявлять на таможне, при этом любой из чемоданов могут открыть. Вот почему нужна точность, объясняет отец. Объясняет в десятый раз, очень серьезно, широко раскрыв глаза и потрясая перед моим носом указательным пальцем. «Обнаружат, чего нет в списке – конфискуют!» Волноваться по такому поводу кажется мне смешным. И отец смешон с этим своим поднятым пальцем и значительно поджатыми губами. Ну, обнаружат в чемодане лишнюю пару моих заштопанных носков или поношенную майку... Неужели будут конфисковывать? Но спорить с отцом – портить нервы. Я поступаю иначе: когда он не смотрит, запикиваю в уголок чемодана одну-две вещички – свои, конечно, о которых раньше позабыл. Не вносить же их в список, отец тут же начнет ворчать.

Мы обосновались в бабушкиной спальне, рядом с ее любимым окном, тем самым, на котором тюлевая занавеска. Соучастница бабушкиных дозоров и разведок, она сейчас закинута вбок, на гвоздь – так в комнате больше света. Да и вид у занавески уже не тот, что прежде. Она давно не стирана, не накрахмалена, не сияет белизной и узорами. Постарела бабушка Лиза, поумерилась её невероятная чистоплотность. Да и не до разведок ей сейчас.

– Три простыни, два пододеяльника, три женских платья...

* * *

Уф-ф, с этим чемоданом, кажется, все! Но проверять заново предстоит еще штук шесть. Вон какая куча стоит возле дедова шифоньера.

Шестнадцать чемоданов – поначалу их число приводило меня в ужас. Потом-то я понял, что это совсем не так уж и много для семьи будущих эмигрантов. Ведь набиты они в основном вещами, которые мы собираемся продавать в Италии – льняными простынями, матрешками и прочими русскими сувенирами...

– Осторожно, ремень! – напоминает мне отец. Это я закрываю чемодан, который сверху затягивается двумя ремнями. Один из них надрезан.

– Как это получилось, не понимаю... – задумчиво бормочет отец.

«Вот память же», – думаю я.

Чемодан этот был куплен отцом давным-давно, больше десяти лет назад. Отец собирался в Кисловодск, получил туда командировку и заодно хотел полечиться немного. А меня он обещал взять с собой, если закончу первый класс «хорошистом», как тогда принято было говорить. Даже учителя так калечили язык. И значок такой был – флажок с надписью «Хорошист». Я был очень доволен, когда на родительском собрании в конце учебного года Екатерина Ивановна, учительница, собственноручно мне его пристегивала. Я глядел на отца и улыбался. «Теперь поеду в Кисловодск!»

И мы, действительно, поехали. Вот перед этим и появился большой, коричневый, приятно пахнущий чемодан с ремнями. «Настоящая кожа» – гордо сказал отец, принеся его домой. Но я почему-то в этом усомнился. Мой школьный портфель, когда его купили, был таким же блестящим и таким же пахучим. Но он-то оказался не кожаным! Надо это дело проверить, решил я. Как? «Да очень просто, – сказали мальчишки, когда я с ними посоветовался. – Ты сделай где-нибудь надрез и сразу увидишь...» Прибежав домой, я схватил отцовскую бритву –

и только прикоснулся ею к чемоданному ремню, как он разъехался, будто был сделан из масла! Я так напугался, что и смотреть не стал, как выглядит этот надрез. Думал я теперь только о том, что будет, когда папа заметит...

Шум, конечно, был ужасный, но отец почему-то меня не заподозрил. Разрез зашили нитками, и когда бы отец ни доставал чемодан, он каждый раз задумчиво бормотал: «Как это получилось? Не понимаю»... Больше десяти лет мы с чемоданом хранили свою тайну.

* * *

– Пожалуй, на сегодня довольно, – сказал отец, складывая листочки.

Я поднялся на ноги, с наслаждением потянулся. Кажется, теперь я наработался и свободен... У меня были планы на сегодняшний вечер.

Я подошел к зеркалу (уже не первый раз за день) и с удовольствием поглядел на свою отросшую, пышную шевелюру. Не стригся я уже три месяца. Перед отъездом из Чирчика пошел я с друзьями в фотостудию сняться на память – для истории, как выразился Женька Сучков. И он же спросил меня, когда мы сфотографировались:

– Поедешь в Америку с этой вот стрижечкой? Вот, мол, глядите на меня, я парень из Советского Союза... Ты что, сдурел? Разве не знаешь, как там молодежь ходит?

Действительно, подумал я. Фотографий парней из Штатов я видел предостаточно. И все они были с длинными волосами, кто до плеч, кто даже с «лошадиным хвостиком» на затылке. Правда, в основном это были музыканты, но, наверно, многие парни хотят походить на своих кумиров. Значит, отращу волосы подлиннее, вот и всё.

За три месяца я достиг в этом больших успехов. Теперь кудрявые черные волосы ниспадали почти до самых моих плеч. Недурно, подумал я, глядя в зеркало.

Зеркало это, старое и потускневшее, в резной деревянной рамке, стояло на бабушкином комод. А по обе его стороны – хорошо знакомые мне фотографии: на одной был запечатлен мой прадед, отец бабушки Лизы, седой, строгий, аккуратно подстриженный. На другой красовался бабушкин брат Абраша в шерстяной шапочке, из-под которой почти не было видно волос. И вот между портретами этих почтенных людей покачивалась моя голова в пышной, девической шевелюре... На короткое мгновение мне стало как-то не по себе. Почудилось, что предки укоризненно и удивленно глядят на меня из своих рамок. Неужели, мол, ты, чудище лохматое, из рода Юабовых? Не стыдно тебе?

Я встряхнул головой: «Нет, не стыдно! Я еду в Америку!» И пошел переодеваться: я собирался навестить друга.

Очень довольный собой, своей прической и одеждой (сиреневая «мочёная» рубашка с металлическими пуговицами, светло-голубые брюки клеш с карманами впереди, а руки, естественно, в этих карманах) я вышел во двор. Через плечо у меня висела довольно тяжелая матерчатая сумка с книгами. Я нес их в подарок другу.

С этими книгами на днях произошла неприятная история. Её нелегко будет понять нынешнему читателю, но попробую объяснить...

Большую часть своей библиотеки я уже отправил в Америку с багажом. То, что осталось, по совету Лёньки Школьника решил продать. Практичный Лёнька тоже собирался продавать какие-то книги, он знал, где это можно сделать, и мы поехали вместе.

Неподалеку от ипподрома ташкентские любители книг устроили свой нелегальный рынок. Это было единственное место в городе, где продавались интересные книги. Разве найдешь в скудных книжных магазинах собрания сочинений Жюль Верна, Джека Лондона, Конан Дойля? Разве купишь Обручева, Ефремова и других советских фантастов? О таком чуде и мечтать не приходилось! А здесь – пожалуйста... Но эта невинная торговля (не наркотиками ведь и не валютой) почему-то считалась противозаконной. Боялись, наверно, власти, что здесь

продают из-под полы всякий «самиздат» и прочую антисоветчину, изданную за рубежом. На «книжников» устраивали облавы, их разгоняли, иногда и арестовывали, а книги, конечно же, отбирали... Так вот, только мы с Лёнькой смешались с гудящей толпой продавцов и покупателей, только я успел восхититься разнообразием книг, лежащих на ящиках и торчащих из мешков, как кто-то стиснул мое плечо. «Что у вас в портфеле? Пройдемте со мной»...

Мы попали в облаву!

Вокруг уже кричали и разбегались люди. Паника началась ужасная. Нас так толкали со всех сторон, что задержавший меня мент немного растерялся. Держа в одной руке мой портфель, он отвернулся, пытаясь схватить еще какого-то «преступника». Зато Лёнька не растерялся. «Тикай, – шепнул он, засовывая руку в мой открытый портфель и вынимая оттуда книги. – Постой, держи еще!» И мы удрали, унеся несколько книг...

Вот их-то я собрался подарить другу.

* * *

...Родители, Эммка, бабушка Лиза, все были во дворе.

– Привет, я пошел. Вернусь не поздно, – попрощался я. И уже подходил к воротам, когда меня окликнул отец:

– погоди! Куда идешь?

Я ответил. Отец подошел и, угрюмо оглядывая меня, пробормотал что-то насчет идиотизма моей прически. Чем длиннее становились мои волосы, тем больше они раздражали отца... Я промолчал, только плечом пожал.

Отношения мои с отцом были уже не такими, как прежде. Отец, пожалуй, стал побаиваться задевать повзрослевшего сына. Я ведь мог уже и вспылить, и ответить резкостью на резкость, а то и сделать что похуже. Подростки в таком возрасте непредсказуемы, опытный школьный учитель хорошо понимал это. К тому же с тех пор, как я стал студентом, виделись мы довольно редко... Словом, я не ожидал от отца «боевых действий». И когда он спросил: «А что уносишь в сумке?» – вполне мирно ответил: «Ничего особенного, книги в подарок другу».

– Дай сюда сумку, – неожиданно потребовал отец.

Конечно, это было оскорбительно, отец даже в прежние годы никогда не устраивал таких обысков. Но очень уж не хотелось ссориться. Я протянул ему сумку. И сразу же отец вытащил из неё пачку импортных сигарет... Лицо у него мгновенно исказилось от злобы.

– Это тоже для друга? – просипел он, скосив в сторону поджатые губы.

– Для друга, – ответил я.

Курение считалось в семье большим пороком, никто из наших мужчин не курил. В том числе и я. Не считать же курением несколько затяжек на хлопке. Сигареты я действительно купил для друга! Но оправдываться было противно да и бесполезно, отец все равно бы мне не поверил. Хожу в кудрях, как хиппи, ношу «мочёнки», не удивительно, что стал курильщиком.

Не знаю, что было бы дальше, но тут подошла мама. Взяла из рук у отца сумку и сигареты, протянула мне.

– Иди, Валера. – Взгляд её, как всегда, был нежным, но и печальным. – Поздно не приходи, бачим.

Уже захлопывая ворота, я услышал во дворе крик отца:

– Это все ты! Ты! Детей портишь! Всегда...

Начинается, подумал я и быстро пошел прочь. И хорошо, что ушел! Я понял это, когда на другое утро Эммка, уведя меня во двор, стала шёпотом рассказывать, что произошло в тот вечер.

У отца начался один из тех приступов ярости, когда он совершенно терял контроль над собой. Он орал на маму так, что подбежала бабушка Лиза. «Перестань, Амнун, оставь в покое Эсю!»

За те двенадцать лет, что мы жили в другом городе, я не раз замечал, что бабушка Лиза помягчала. Раньше она ни за что не заступилась бы за маму, а теперь вот бегала вокруг отца, всплескивая руками: «Успокойся! Что она сделала?» Но отец уже сорвался с цепи. Подскочив к маме, он ударил её... Бабушка закричала неистово, вскрикнула и мама. Тут отец вроде бы немного очнулся и, бормоча что-то, ушел в дом.

Да, хорошо, что меня не было при этом! Скорее всего, я бросился бы на отца с кулаками...

* * *

На другой день во дворе происходило что-то вроде семейного совета. За столом под сенью шпанки собрались почти все мои родственники – бабушка Лиза, Робик, дядя Миша, жена его Валя, моя мама. Пришли и мы с Эммкой. Отец сидел чуть поодаль от остальных, упершись руками в колени, плечи его под белой майкой были приподняты. Чувствовалось, как он напряжен, настрожен...

Со странным ощущением сидел я за столом. Что-то изменилось, что-то небывалое случилось в семье Юабовых! Можно ли было представить себе, чтобы в годы моего детства семья собралась осуждать отца?.. Стыдить его за безобразное поведение с мамой... Бабушка Лиза, которая прежде во всем винила только маму, теперь обвиняет сына и защищает сноху. Дядя Миша – сколько раз до нашего отъезда он оскорблял маму, принимая сторону своей матери, а теперь нашел в себе мужество открыто защищать невестку...

Надо отдать справедливость дяде Мише: он почти всегда был судьей при семейных разборках и тратил на свою вторую профессию «главного миротворца» немало времени и сил. Ссорились ли Марийка с Робиком, происходила ли очередная перепалка в семье тетки Тамары, на помощь призывали дядю Мишу. Все считались с его авторитетом: как же, ученый человек, физик, кандидат наук... Унижать достоинство родственников дядя Миша не любил: предпочитал устраивать проборку не прилюдно, а с глазу на глаз. Именно так он и с отцом моим не раз поступал. Уговаривал, ругал, возмущался его выходками (это не мешало самому Мише срываться дома и жестоко обижать Валю, характерами-то братья были схожи. Впрочем, конечно, дядя Миша был и мягче и, возможно, самокритичнее).

Но вот настал день, и дядя Миша сидит среди нас за столом и сурово смотрит на брата. Значит, это он счел необходимым открытый разговор. Все молчат, звучит только мамин голос.

– Вот так уже двадцать лет. В Ангрене, в Ташкенте, в Чирчике... Двадцать лет! Вы посмотрите на него, ему уже пятьдесят... А чему научился в жизни? Что у него в голове?

Мама помолчала. Она сидела, обхватив себя руками за плечи, и взгляд её, такой печальный, устремлен был куда-то далеко.

– Я не могу так больше. Не могу. Что хотите делайте, а я с ним в Америку не поеду!

Отец дернулся на своем стуле, приоткрыл было рот, но ничего не сказал, только поднял плечи еще выше.

Бабушка Лиза всхлипнула, что-то пробормотала неразборчиво. И тут заговорил дядя Миша.

– Амнун... Кто у тебя есть, кроме семьи? Кроме жены и детей? – Тут голос его дрогнул. Казалось, что эти слова дядя Миша еле выдавил из себя...

Мне удавалось иногда тайком, то за дверью притаишься, то за деревьями, наблюдать его беседы с провинившимися родственниками. Дядя всегда держался с достоинством, говорил негромко, спокойно, сдвинув свои густые брови и глядя куда-то в сторону, а не на собеседника. Мне порой казалось, что он совершенно машинально выполняет свой долг воспитателя, а ум

его в это время погружен в поиски решений какой-то сложной физической задачи или проблемы. Но сейчас было не так. У дяди Миши даже губы дрожали, он был очень взволнован.

– Амнун... А там, в чужой стране, кто у тебя будет там?

Дядя Миша взглянул на брата, протянул к нему руку, но тот, как и прежде, сидел, низко опустив голову.

– Чи мешо анакун? (что же теперь будет) – горестно пробормотала бабушка.

Тут заговорила Валя. Заговорила – это не то слово. Она изливала душу. Впервые она смогла в присутствии своего мужа, в присутствии бабушки Лизы, открыто высказаться о человеке, уже столько лет попиравшем жизнь её подруги. Да ведь и на ней самой так тяжело отразилось все это – враждебность к маме, разлад в семье...

– И вот к чему ты пришел, – закончила она свою речь. – Ты всех оттолкнул от себя, всех. И себе же на горе, ведь ты больной! Кому ты такой будешь нужен? А! – Валя произнесла это жестко, как отрубил, и отвернулась от отца.

Потом что-то говорил Робик, как всегда, когда он нервничал, широко раскрыв глаза. Потом – снова Миша.

А отец молчал. Он все тяжелее опирался о колени ладонями, вывернув локти наружу, согнувшись так, что под белой майкой на спине, которая казалась совсем круглой, толстым жгутом выпирал позвоночник. Будто какой-то груз все сильнее давил и давил ему на плечи. И дышал он все тяжелее, как перед приступом астмы.

– Ну, скажи хоть что-нибудь, Амнун... – устало проговорил Миша.

Отец поднял голову, посмотрел на маму, на меня, всех обвел взглядом и медленно покивал головой, как бы признавая: да, вы правы. Что-то он пробормотал тихонько.

Можно ли было считать это извинением? Не знаю. Да и вряд ли отец искренне чувствовал себя виноватым. Я не верил, что даже «семейный суд», даже такое всеобщее, впервые высказанное осуждение могли его потрясти настолько, чтобы он стал не только внешне, но и по сути другим человеком. Или хотя бы захотел стать. Я не верил!

Я взглянул на маму. Она сидела печальная, вся ушла в свои мысли. Мне кажется, я угадал их. «Я не поеду с ним!» – это вырвалось у нее, как крик отчаяния: «Нет больше сил!» Но могла ли она не поехать? Ведь путей к отступлению не было, ведь речь шла о судьбе детей. Ехать с ним придется, думала мама. Сейчас уже ничего не изменишь. Придется найти силы, примириться снова. А там поглядим, что будет...

Мне кажется, что я угадывал мамины мысли. Мне кажется, мы думали об одном и том же.

Глава 16. Поезд тронулся...

– Хай, бви, чи кунам? – спрашивает мама. Они с бабушкой Лизой стоят друг против друга на кухне, обе озабоченные, расстроенные... – Что же будем готовить? – повторяет мама уже по-русски, словно бы обращаясь уже и ко мне, случайно зашедшему на кухню.

Когда мама чем-то озабочена, это выражает каждая чёточка её лица. И все вместе они складываются в печальную, но милую гримаску. Губы выпячиваются вперед и верхняя приподнимается так, что почти касается кончика носа, который в это время, наоборот, опускается вниз, будто хочет поцеловаться с губкой. Широкие, густые брови сдвигаются над переносицей, соединяются в одну черную линию – так они и выглядели раньше, пока мама не начала выщипывать проход между ними...

Озабоченность, торопливое совещание на кухне, всё это из-за того, что к нам неожиданно нагрянули гости. Казалось бы, уже все родственники и друзья, с которыми родители хотели проститься, побывали у нас. До отъезда осталось всего два дня, а дел невпроворот. Так нате вам – во дворе за столом собралось человек пятнадцать, а то и больше.

В общем-то, понятно, как это случилось. Далеко не всем родным и знакомым родители сообщили о своем отъезде. Почему? Из осторожности. Если уж говорить честно, то придется употребить слово «страх». Я уже писал, что получив разрешение ОВИРа на выезд, отец даже не решился громко поделиться со мной радостью. И чем ближе был отъезд, тем страшнее становилось. По городу ходили упорные слухи, что отъезжающих грабят. Особенно тех, кто уезжает вот-вот, у кого и доллары на руках, и новые вещи куплены, и все ценности, что есть в семье, собраны вместе... Грабили, ничего не боясь. Кто будет заступаться за людей, уже лишённых гражданства? А может, «наводили» грабителей как раз те, кто отнимал гражданство? Кто знает... Доходило и до убийств. С одной семьей, как мы узнали, так вот и расправились среди бела дня. Мужу, чтобы признаться, где драгоценности (не знаю, были ли они у этих людей) поставили на живот раскаленный утюг... Врачам не удалось его спасти, он умер.

Как мы ни осторожничали, но многие какими-то путями узнали о нашем отъезде и, собравшись вместе, неожиданно явились в гости... С ними сейчас во дворе беседуют мужчины. А хозяйке на кухне: нужно срочно готовить обед. Не чай со сладостями, а именно вкусный, сытный обед. В Азии иначе нельзя, ждали вы гостей или не ждали...

– Курица есть, мяса немного, – подумав, говорит бабушка, ожесточенно потирая поясницу. – Квов руган если сделать, быстро будет.

«Квов руган» – это жаркое. Значит, мне надо бежать в подвал за картошкой. А мама уже ставит на плиту чугунный котелок и зажигает конфорку. И когда я возвращаюсь, на кухне работа кипит вовсю: на помощь маме и бабушке пришли тетя Валя и Марийка, жена Робики. Меньше, чем через час стол во дворе заставлен салатами и дымящимися блюдами. Гости склонились над тарелками, раздаётся говор, звенят рюмки. Пиршество в разгаре...

И вот поднимается брат дедушки Ёсхаима. Тот самый брат, я уже упоминал о нем, который, в отличие от деда, получил хорошее образование. Он стал математиком, имеет звание профессора. Михаил Рубинович – так его зовут – даже внешне отличается от других гостей. Он довольно стар – ему больше шестидесяти – но ухожен и подтянут. Все наши родственники и знакомые носят летом узбекские яркие тюбетейки, заменяющие кепки. Михаил Рубинович – в светлой шляпе с полями. Он гладко выбрит. Так и кажется, что он сейчас не за нашим столом, а на какой-нибудь научной конференции и скажет что-нибудь заковыристое, из области высшей математики... Но профессор говорит:

– Хотя вы уже и решились на такой шаг, хочу, чтобы вы одумались. Одумались и не ехали!

На несколько мгновений за столом наступает тишина, в которой слышен только один звук: чавканье деда Ёсхаима. Не поднимая головы, он с удовольствием ест свое жаркое. Дед

к высказываниям ученого брата давно уже относится с равнодушием, более того, с неодобрением. Ему неохота отвлекаться от еды, прикладывать руку к уху и спрашивать у соседа: «О чем это он говорит?» Дело в том, что взгляды у братьев диаметрально противоположные: дед Ёсхаим – человек очень религиозный, ненавидящий советскую власть за вражду к Израилю и преследование евреев. Брат его Михаил – член коммунистической партии, слепо верящий её «учению» и гордый тем, что живет в такой замечательной стране.

– Амнун! – продолжает свою речь Михаил Рубинович. – Опомнись, пока не поздно! Ты знаешь, куда едешь? Что там за жизнь? Ты больной! Ведь это капиталистическая страна!

Прерывать старого почтенного человека никто не решается, все молчат...

Неуместные, глупые высказывания иногда вызывают у присутствующих такое чувство неловкости за говорящего, особенно если это кто-то из близких, что люди начинают ёжиться, будто они сами в чем-то виноваты. Со мной это бывало, мне казалось, что на меня смотрят с насмешкой: мол, это ты с ним сюда пришел? А иной раз общее негодование, наоборот, объединяет людей, они обмениваются понимающими взглядами: «Что он несет? Заткнулся бы!»

Именно это мы все сейчас и чувствовали. Как ни странно, первым выразил общее состояние дед. Оторвавшись от жаркого, он поглядел на брата, что-то спросил у сидящего рядом Ильи, тот прильнул к дедову уху, пошептал... И тут дед, помахав рукой, громко сказал:

– Э-э, Михоэл, зачем столько говорить? Садись, ешь, пока не остыло!

Будь почтенный профессор помоложе, весь стол просто грохнул бы, повалился от смеха. Но смеялись деликатно, отвернувшись. А пока представитель правящей партии усаживался, поднялся дядя Миша и подытожил политическую дискуссию такими словами:

– Решение Амнуна и Эси ехать – это решение сугубо личное... Семейное! – сказал он раздельно и строго посмотрел на дядю.

* * *

Из окна в коридоре вагона виден почти весь перрон. Несмотря на раннее время, еще нет и семи утра, провожающих довольно много. Самая большая кучка людей возле нашего вагона, под нашим окном. Мы уезжаем, наконец. Промелькнули в суете последние два дня в Ташкенте, в старом доме, в Старом Дворе. Промелькнула и ночь, моя последняя ночь на топчане, под сенью урючины, под этим огромным ночным небом с мерцающими звездами... Я почти не спал. Думал ли я о том, что теряю, с кем расстаюсь? Нет. Не спал от возбуждения, глядел на небо и думал: «Скорее бы утро!» А сейчас вот, много лет спустя, яснее всего вспоминаю звезды в ночном небе...

Мы уезжаем, наконец. Сегодня – в Москву, из Москвы – в Брест, на границу, и дальше, дальше... От этих мыслей у меня кружится голова. Поезд вот-вот отправится, поэтому мы все уже в вагоне. Родственники, толпясь у окна, спешат дать последние советы.

– Ушор шивет! – Это Робик. Он чуть ли не в сотый раз повторяет свое «будьте пошустее». Робику, как, впрочем, и Мише, кажется, что их старший брат Амнун человек не слишком-то пробивной. Что уж говорить о маме! По правде говоря, братья правы. Они многое делали для папы и за него. И делали очень неплохо. Робик энергичный, деловой человек. Работа у него ответственная: он в республиканском градостроительном научно-исследовательском институте заведует отделом воздушного охлаждения и еще чего-то там... Словом, действительно стал «шефом». Ну, заведовать-то, как известно, можно по-всякому, даже ничего не понимая в деле, но Робик не такой. Как-то забарахлил мамин любимый холодильник ЗИЛ. Мастер исправить не смог, сказал, что холодильнику пора на свалку. Но приехал, к счастью, в гости Робик. Он постоял у холодильника, послушал «пациента», потом отодвинул его от стены и присел у задней панели. Послышались негромкие удары. Через несколько минут «доктор»

поднялся на ноги и пошел мыть руки. «Нас переживет», – сообщил он. Действительно, холодильник прекрасно работал до нашего отъезда...

Сейчас Робик дает советы по привычке: он летит в Москву самолетом и, когда мы приедем, встретит нас, поможет. Он даже поедет с нами до Бреста, до самой границы. Мы еще увидимся. А вот с Юркой... Юрка стоит рядом с «шефом», заложив руки в карманы, и с улыбкой смотрит на меня. Я тоже посмеиваюсь и думаю: «Ну, уж сейчас ты ничего такого не учудишь, дорогой кузен». Мы долго были в ссоре из-за очередной Юркиной выходки и помирились только дня два назад. Мы глядим друг на друга, и как когда-то в детстве, я радуюсь, что мы – друзья. «Да увидимся же, увидимся!» – думаю я. Расстраиваться сейчас неохота, сердце мое рвется в неизвестное.

– Одевайтесь там потеплее! – Это тетка Тамара. Она очень боится простуды. – И живите дружно, – добавляет она, глядя на отца...

Отец, улыбаясь, обнял маму за плечи и притянул к себе. После собрания во дворе он стал и ласковее, и добрее. Может быть, и улыбка его, и чувства чистосердечны, но я увидел, что мама поморщилась, ощутил ее напряжение. Да, ее чувство к отцу умерло, не осталось и доверия к нему...

Свисток, длинный и залиvistый. Вагон дернулся раз, другой... Поезд тронулся! Родственники бежали по перрону, махали нам, что-то кричали. Махали и мы. «Ура! – ликовала моя душа. – Поехали!»

Теперь надо было как-то устроиваться. Шестнадцать чемоданов, сумки, кошельки превратили маленькое купе в какой-то склад. Они стояли на всех четырех полках, на полу, висели на крючках. На одном из них красовалась сетка с двумя огромными дынями килограммов по десять каждая. Знаменитые наши дыни, длинные, как дирижабли, желтые с темными полосками, всё купе наполняли своим ароматом и были такими спелыми, что, казалось, веревочные ячейки сетки вот-вот вопьются в них, прорежут, как нож прорезает масло... Дыни притащил Робик. «Пригодятся в Москве», – сказал он тоном, не допускающим возражений. Робик не раз бывал в Москве, очевидно, он знал, о чем говорил.

Устроившись кое-как среди чемоданных завалов, мы с Эммкой уселись поближе к окну. Все три дня, что ехали мы до Москвы, это было нашим главным занятием и развлечением – глядеть в окно. Первые полтора дня пейзаж не отличался разнообразием, мы ехали по бескрайним пустыням Казахстана. Песок, песок, песок, верблюжьи колючки, верблюды, иногда почти у самых путей. Надменно подняв головы, они жуют, жуют и безучастно глядят, вроде бы на поезд, но и куда-то мимо нас... Поселки, небольшие городочки, где мы ненадолго останавливаемся. Однообразно, но все равно интересно... Днем от окна шли волны жара и заполняли купе – снаружи было за 50 градусов. Но вот позади осталась пустыня, желтое сменилось зеленым. Зелень становилась все гуще, все выше. Появились заросли кустарников, цветущие луга. Речки мелькали в траве голубыми змейками. Пошли рощицы, на смену им пришли леса. Очень это было непривычно для нас – ехать среди лесов! Россия на исходе лета щедро дарила нам свою красоту.

Москва встретила вокзальной неразберихой, шумом, многолюдством, но я уже побывал в столице со школьной экскурсией и все это видел. Да и вряд ли я в те дни способен был что-то замечать, запоминать. Робик подошел как раз, когда мы выгружались. Тут началась ужасная суэта. Куда-то тащили вещи, грузили их на машину, ехали долго по Москве с Казанского на Белорусский вокзал, но как это происходило, я совершенно не помню. Знаю только, что решено было переночевать на вокзале – поезд на Брест уходил на другой день. Вещи перетаскивали в какой-то угол, под лестницу, уселись передохнуть. И только стали немного приходить в себя, как выяснилось: у нас неприятность. Подошел поговорить знакомый, земляк, тоже едущий в эмиграцию (мне почему-то запомнилось, что рот его был полон золотых зубов) и, между прочим, спросил:

– В Вену прямо из Бреста едете или еще с одной пересадкой?

– С какой еще пересадкой? – всполошился отец.

Знакомый объяснил, что иногда продают билеты в Вену не прямым рейсом, а с пересадкой в Польше.

– Моя тетка недавно так ехала. Намучалась, не дай бог никому! Грузчиков там нет, тележек нет, сама таскала вещи на другой перрон по лестнице. Да все бегом, бегом: поезд через сорок минут!

Отец побледнел и трясущимися руками стал вытаскивать билеты из бумажника. Так и есть: и нам предстояла пересадка! Отец зверем посмотрел на Робика, это он с месяц назад достал билеты через знакомых. И очень этим гордился: билеты в загранку тоже были дефицитом. После короткого, но бурного обсуждения отец с Робиком отправились в кассы менять билеты. Мама и мы с Эммкой получили строгий наказ не спускать глаз с чемоданов. Вернулись мужчины примерно через час, усталые и мрачные. Обменять билеты не удалось. Отец ругался, Робик молчал и, как обычно в минуты напряженных раздумий, покусывал усы. Внезапно он махнул мне головой и коротко приказал: «Бери дыни... Пошли».

Шел он быстро, размашисто, я еле поспевал за ним. Тащить почти что бегом двадцать килограммов через вокзальные залы, упражнение не из легких. Но вот подошли мы к кассам, у которых стояли длиннющие очереди. Робик направился не к очереди, а к закрытой кассе, возле которой была дверь. В закрытое окошко он и постучал. Оттуда что-то прокричали.

– Девушка, это опять я. – Шеф придвинул губы к самому окошку. – Откройте дверь, пожалуйста...

– Дверь? – настороженный голос изнутри. – Это зачем?

– Я из Ташкента. Хочу вам кое-что передать, – с прямодушной простотой объяснил Робик.

Дверь приоткрылась. Быстро оглядевшись, Робик протолкнул в щель дыни, одну за другой. Дверь тут же закрылась, зато окошко отворилось.

– Прямые на Вену, пожалуйста... Сколько надо, доплачу! – медовым голосом проговорил Робик и сунул в окошко наши билеты.

– Подойдите через час... – и окошко захлопнулось.

– Понял, что такое дыни? – назидательно сказал мне Робик, когда мы весело и бодро возвращались обратно. – Оч-чень ходкий товар! Они в Москве в десять раз дороже, чем у нас. А думаешь, мы одни такие? Кассирши эти хапают и хапают, живут неплохо...

Мучительная ночь на вокзале. По очереди спим на чемоданах. Я то проваливаюсь в сон, то просыпаюсь и вижу, что мама копается зачем-то в вещах, раскрывает то одну, то другую сумку. Оказывается, у Эмки поднялась температура, ей плохо. Простудилась, наверное. Мама достает лекарства, и это предусмотрела, натирает Эмку мазью, дает какие-то таблетки, укутывает. Утром ей лучше, день проходит без происшествий, и вечером мы уже едем в Брест... В Брест, к границе! Мне просто не верится!

* * *

Вокзал в Бресте выглядит, как пограничная застава: по всей длине перрона стоят люди в военной форме. Вроде часовых, по одному на каждый вагон. Впрочем, они только глядят на приехавших, а вещи наши помог выгрузить и отвезти куда надо обыкновенный носильщик с тележкой. Все мы (кроме Робика, провожающих отвели в отдельный зал) оказались в просторной комнате перед длинным рядом столов. Внушительного вида таможенник проверял наши визы, декларацию о валюте и других ценностях, пересчитывал не торопясь доллары. Напугал отца, заявив, что у нас на сколько-то долларов больше, чем полагается. Отец занервничал, стал оправдываться, объяснять – все доллары нам выдали в посольстве... Так оно и было, таможен-

ник это отлично знал. Установка у них, видно, была такая – напоследок попортить нервы и настроение «бывшим гражданам»... Да и больше того. Мы слышали, что придравшись к мельчайшему нарушению таможенных правил могут отобрать визы, вернуть людей обратно, а то и арестовать.

Родители правил не нарушали. Даже золотых украшений – кольцо, цепочка да браслетик – у мамы было по весу меньше, чем разрешалось вывезти. Не было ни бриллиантов, ни других дорогих камней. Пограничник опытным глазом сразу определил это и немного смягчился.

– Дайте списки вещей и открывайте чемоданы... По одному, – сказал он довольно вежливо. И пока его помощник рылся в наших чемоданах, он зачитывал вслух: – Простыни льняные... Нижнее белье... Фотоаппарат...

Вот тут-то я испугался, у меня даже спина вспотела. «Что я всунул в этот чемодан? Или не в этот?» Вдруг из-за меня, из-за какой-то ерунды, которую мне захотелось взять с собой, нас вернут обратно? Но все обошлось. Да и проверили как следует всего три-четыре чемодана, простукивая даже дно – нет ли внизу потайного отделения. Потом поняли, что здесь «улова» не будет и, заглянув в очередной чемодан, тут же говорили: «Закрывайте».

* * *

Успокоившись, я стал поглядывать по сторонам. За соседним столом багаж какой-то семьи просматривало аж четверо таможенников. Вот это был «шмон!» Всё из чемоданов выкладывали на стол и каждую вещичку перетряхивали. Занимались этим три человека. А четвертый, стоя у весов, проверял драгоценности матери этого семейства, очень модно одетой, расфуфыренной дамы. И по каким-то причинам проверка эта была для дамы не слишком благоприятной. «Пройдете со мной, гражданка», – услышал я... И даму увели. Не знаю, нашли ли на ней что-нибудь хитроумно запрятанное и что было дальше с этим семейством...

Я считаю себя честным человеком и дело предпочитаю иметь с честными людьми. Но нельзя же считать ворами тех, кто хочет, уезжая, сохранить свое имущество даже путем хитрости и обмана! Почему все самое ценное, что принадлежит лично тебе, при отъезде должно быть отдано государству? Увы, такова была коммунистическая «законность».

– Вещи можете забирать... Кто-нибудь провожает? Прощайтесь и проходите.

Мы бросились к Робику, который все это время смотрел на нас через стеклянные двери соседнего зала. Торопливые поцелуи, всхлипывания (плакали взрослые, а не мы с Эммкой). Отец выгребает из карманов все советские деньги, что остались нерастраченными – а их немало, родственники на всякий случай щедро снабжали нас перед дорогой – и отдает Робику... Пограничник, стоящий рядом, во все глаза наблюдает за нашим прощаньем, а вдруг Робик что-нибудь передаст нам... Изо рта в рот, целуясь, например... Но нет, мы целуемся честно. Последние «звоните, пишите». И вот мы снова втаскиваем свой багаж в поезд, в тот же самый вроде бы, что привез нас в Брест, ему только колеса поменяли для зарубежной колеи. Усаживаемся кое-как среди чемоданов. Мы устали и физически, и душевно, напряжение никуда не уходит...

Толчок, поезд тронулся. Сейчас переедем границу. Мы бросаемся к окну. В вечерней мгле медленно уплывает вдаль перрон, пограничный город Брест, а вместе с ним все наше прошлое.

Глава 17. «Господа, с приездом!»

В Вене, как и в Бресте, нас встречали военные. Стояли они на перроне вдоль всех вагонов. «И здесь охраняют!» – хмыкнул кто-то, пока мы толпились в коридоре, готовясь к выходу. Его тут же поправили: «Здесь встречают... С почетом! Глядите, это ведь наши. Израильские солдаты».

До чего же непривычно выглядели «наши!» На голове не пилотка, не фуражка, а берет набекрень, на ногах – высокие, черные, зашнурованные ботинки. На плече – автоматика какие-то маленькие, со складными прикладами... Что-то, а оружие я сразу разглядел. А на берете и на кармане униформы – звезда Давида. Уж здесь над ней никто не смеялся!

Возле самого вагона двое штатских, мужчина и женщина, спрашивали: «Фамилия?.. Куда? В Израиль – сюда, пожалуйста... Америка? Пройдите в тот ряд...» Зря, значит, родители так боялись: «сортировали» нас, будто решение ехать в Америку, а не в Израиль, вполне законно. Мужчина просматривал документы и задавал вопрос, дама делала пометку в списках и, вручив большой желтый пакет с какими-то документами, показывала, куда встать. Ряд, в котором стояли «американцы» оказался гораздо длиннее, чем израильский. Я увидел в израильском пожилую бездетную пару, тоже из Ташкента, которая ехала с нами в одном вагоне. Они стояли, держась за руки, аккуратные такие, у дамы в руках сумочка и зонтик. Я подумал: вот уж с ними мы, наверно, никогда больше не увидимся...

Наконец с нами разобрались. Встречавший нас мужчина, разрешив себе, наконец, вспомнить, что мы не документы, а живые люди, сказал громко и приветливо:

– Господа, с приездом! Проходите к автобусам. Багаж прибует на ваши квартиры...

«Господа, с приездом»... Это мы – господа... Странное чувство охватило меня. Вдруг вспомнилось: мы, мальчишки, играя, называли друг друга: «господин Смит», «господин Пенкрофф»... Мог ли я вообразить, что через несколько лет меня назовут так всерьез? И я внезапно не умом, а всем существом, понял, какое огромное событие произошло в моей жизни.

День был солнечный, совсем нежаркий. Чуть покачивался комфортабельный автобус. Мы ехали на встречу с представителем Хиаса, обсуждать наше будущее. Родители снова волновались. А автобус катил по одному из красивейших городов мира, и встречавшая нас на вокзале дама, превратившись теперь в гида, рассказывала о Вене.

Я, конечно же, не слушал её. Слишком был взволнован. За окном мелькали нарядные улицы, старинные церкви, памятники, особняки, окруженные деревьями, парки, парки... Город утопал в зелени. В Ташкенте тоже было много зелени и цветов, много парков. Я и там видел немало красивых зданий, а не только саманные домики Старого Города. Да и Москву я повидал. Но Вена была совсем другой. Особенной. Почему, я не мог тогда даже попытаться понять, я просто всем существом своим впитывал своеобразие одного из красивейших европейских городов, сумевшего сочетать в себе современность и обаяние старины.

Мама – она сидела рядом со мной и всю дорогу крепко держала меня за руку – то и дело сжимала её еще крепче и шептала:

– Ты погляди... Ты только погляди!

Я кивал...

И маму, и меня поразило, как в Вене чисто. Город был словно только что вымыт, выметен.

– Ты погляди, ни одной бумажки, – шептала мама.

Я кивал. Вспоминал мусорные ведра возле дедова дома и рои мух над ними, вспоминал... В общем, мне было с чем сравнивать Вену. Мне и Москва запомнилась как город грязный, замусоренный, неухоженный.

Еще более ярким впечатлением были машины. Впрочем, оно и понятно, что восемнадцатилетний юнец восхищался ими, а не какими-то там средневековыми церквями. Я пожи-

рал машины глазами. До чего же красивые, сверкающие, без единой вмятинки, царапинки! Как плавно и быстро едут! Я успевал глядеть и на те, что шли нам навстречу, и на машины, которые нас перегоняли. Я жмурился, до боли в глазах вглядываясь в названия марок, в символы на капотах и багажниках. «Фиат», «Фольксваген», «Ситроен», «Мерседес»... Да разве перечислишь! Тем более что некоторые машины были совершенно для меня новыми, я не знал таких марок, не слышал о них. Кое-что, конечно, видел, но только на рекламах в западных журналах: по Чирчику и даже по Ташкенту ездили все больше на отечественных «Москвичах», «Запорожцах» и «Жигулях». А здесь... Словом, нагляделся я так, что пришлось откинуться на спинку кресла и посидеть с закрытыми глазами: они слезились и болели.

* * *

На одной из площадей, пока наша дама-гид что-то о ней рассказывала, мы остановились на несколько минут. Мимо автобуса проходила группа туристов.

– Гляди, это же Слава! – крикнул мужчина, сидевший перед нами, толкая жену. Оба прильнули к окну. – Вон он, вон, в шортах... Видишь?

Жена тут же заохала:

– Ой, вижу же, вижу! Ой, как он выглядит!

Слава выглядел, как настоящий иностранец: шорты, темные очки, фотоаппарат с большим объективом на толстом животе...

– Ой, постучи же ему в окно, постучи! – волновалась жена пассажира. Но тут наш автобус поехал дальше.

– Простите, этот ваш знакомый...

– Он тоже недавно из Союза? – спросила у соседей мама. Уж очень ей захотелось узнать, почему загадочный Слава таким туристом-иностранцем расхаживает по Вене. Оказалось, что человек этот эмигрировал из Одессы года три назад и поселился в Америке. То есть в Вену он, вероятно, приехал, как турист.

– Всего только три года... А уже путешествует! – вздохнула мама. Я думаю, что вздох этот одновременно пронесся по всему автобусу: «И нам бы такая удача, такое благополучие!»

Автобус остановился возле красивого особняка – здесь помещался Хиас, еврейская организация, которая опекала нас. Особняк же, как нам рассказали, принадлежал богатой австрийской филантропке. В зале толпился народ, прибывали с вокзала все новые группы приезжих, было шумно, слышался русский говор... Все было таким знакомым, словно мы никуда и не уезжали.

– Господа, берите анкеты. Заполняйте внимательно, это ваше досье... – Дама из Хиаса говорила по-русски очень плохо. – Пишите только правду!

Снова волнения, да какие! Казалось бы, мы уже заявили на вокзале, куда собираемся ехать и никто нам не возражал. Составили списки, сюда, в Хиас, привезли только «американцев»... Так почему женщина из Хиаса делает вид, что ничего об этом не знает? «У вас виза израильская? Ваш гарант живет там? Значит, туда и надо ехать», – ответила она на чей-то робкий вопрос по поводу графы в анкете: «страна эмиграции». Но мы ведь знали, что это не так, что есть у нас право выбора!

Отец, приподняв плечи, с напряженным лицом перечитывал и перечитывал анкету. Потом махнул рукой и сказал мне:

– Э-э, да что там! Пиши – США... А гарантом Ёсефа... Не спеши, пиши аккуратно!

Я очень старался – мне доверили дело большой важности...

После этой неприятной и нелегкой работы мы получили неожиданную, но очень своевременную разрядку. В зал въехали тележки с обедом... В серебристых тарелочках, покрытых фольгой, было сочное жаркое с картофелем. Даже мама, наш непревзойденный кулинар,

похвалила его. Мне же наш первый обед в Вене, на этих серебристых тарелочках, показался не просто вкусным, но каким-то особенным, изысканным, «заграничным».

* * *

Окруженные чемоданами и сумками, стоим мы в широком и светлом вестибюле четырехэтажного дома. Здесь нас поселили. В руках у папы – ключ от квартиры. Она на третьем этаже, а лифта в доме нет. Значит, снова всё перетаскивать... Кому? Мне, кому же еще? Папе носить вещи просто нельзя, Эммка слаба и ленива. Мама, конечно, тут же кинется помогать, но смотреть, как она, изгибаясь, прижимая двумя руками ручку чемодана к животу, силится идти с ним по лестнице... Нет уж, мне легче самому вдвое больше перетащить!

Кстати, беда не в том, что у нас много тяжелого багажа. Некоторые из чемоданов – очень ненадежные, едва держатся. Возьмешься за ручку, а она вытягивается, как резиновая, чемодан провисает вниз и, кажется, вот-вот лопнет. Такие чемоданы надо поднимать вдвоем, с двух краев. А мне как быть? Мне остается одно: воображать, что я занимаюсь тяжелой атлетикой. Бодро говорить себе: наконец-то, Валера, ты стал спортсменом... Держись! И я держался... За время поездки грудь и руки мои стали просто железными. Теперь я мог бы померяться с дедом Ёсхаимом силой рукопожатия.

Нормальные, прочные чемоданы я перетаскивал в обеих руках, по одному в каждой – так даже легче, есть баланс. Те, что могли бы развалиться, поднимал на правое плечо – уже во время первых погрузок и выгрузок я так натренировался, что делал это сам. С одной стороны в чемодан упиралась моя правая щека, с другой я придерживал его рукой. Я нес этот груз не сгибаясь, шагал пружинисто, мерно и немножко любовался собой. То есть воображал, конечно, что мною любят все вокруг. «Поглядите только – какой красивый кудрявый юнец, высокий, худощавый, но полный сил, – и как легко, без всяких признаков усталости, тащит он этот неподъемный чемодан!». На самом же деле, поставив, наконец, чемодан на землю, я не сразу мог выпрямиться и чувствовал, как от моего набрякшего лица медленно отливает кровь.

«Почему так тихо?» – удивился я, внося последние чемоданы в квартиру. Вся семья, вместо того, чтобы раскладываться, рядом сидела на диване. У всех троих были растерянные лица.

– Тут уже кто-то живет, – сказала мама, увидев мой вопрошающий взгляд. – Какая-то путаница... Не знаем, что делать.

Да, тут явно жили люди. На столе была неубранная посуда, у дверей валялась обувь, повсюду стояли чужие чемоданы... А вот, кажется, и их владельцы...

Послышались голоса, дверь распахнулась и в квартиру вошли люди. Очень много людей, как нам показалось с перепугу. Потом мы поняли, что это семья: муж, жена и детки, мал мала меньше. Четверо...

– Кто вы? – поднимаясь, спросил отец.

– Нет, это вы кто?! – воскликнул вошедший. – Мы здесь живем... – В подтверждение своих слов он поднял над головой ключ от двери. – А вы как сюда попали?

– Нас вселил сюда Хиас. Сегодня... – Отец тоже показал ключ.

Пожалуй, это было похоже на сценку из какой-нибудь комедии. Только никто не смеялся: зрителей на спектакле не было, а актеры переживали так, будто играли драму. Через несколько минут стало ясно, что Хиас поселил в этой квартире две большие семьи. Десять человек – четверо мужского пола и шесть женского – должны были разместиться в двух спальнях и гостиной. К жильцам женского пола принадлежали три дочки наших невольных соседей – шести лет, трех лет и годовалая малышка. К мужчинам – их семилетний сынок...

Звонить в Хиас, объясняться? Поздно: уже вечер. И уже начались праздники. Встреча с нашим ведущим – только через три дня. Значит, придется жить вместе.

Женщины примирились с этим легко. Затаскивая чемоданы в свободную спальню, я слышал доносящийся из кухни звон посуды, оживленный говор, смех. Люба Акбашева оказалась на редкость общительной и веселой. Они с мамой понравились друг другу и вскоре уже радовались неожиданному повороту событий.

Сложнее было с Бенею Акбашевым, но, пожалуй, не по его вине.

Кто бы обрадовался, увидев в своем жилище чужих людей? Наш древний предок в звериной шкуре, наверно, зарычал бы, обнажив мощные клыки, и бросился отстаивать свою пещеру, не вступая в переговоры. Любой герой современного американского фильма выхватил бы пистолет (они у героев почему-то всегда наготове) или, на худой конец, воспользовался каким-нибудь тяжелым предметом. Бухарский еврей Бенею Акбашев оказался намного цивилизованнее: он показал свой ключ... Правда, лицо у него при этом было, мягко выражаясь, весьма неприветливое. И голос тоже. Успокоился он далеко не так скоро, как его жена. В отличие от неё он был неулыбчивым, разговаривал, как нам казалось, резко, а на самом-то деле просто громко. Поэтому и мы с отцом были скованы и насторожены, продолжали «держаться оборону». А Бенею, конечно, замечал это. Словом...

Обстановка разрядилась, когда мы вместе усадились ужинать. Перед этим Люба призналась маме, что ей почти нечего подать на стол.

– Вчера – сказала она, – купить не догадались, а сегодня праздник какой-то начался, все магазины закрыты.

Мама засмеялась:

– Вот так Вена! Но не горюйте, еды хватит на всех!

Мамина хозяйственность всегда меня поражала, но когда мы собирались в долгую дорогу, даже мне показалось, что она перебарщивает. Папа же просто кричал: «Барахольщица!» Несколько сумок набила мама продуктами: и консервами, и едой, приготовленной ею в расчёте на несколько дней. Теперь, победно поглядывая на нас с отцом, она вынимала самое вкусное...

И вот мы ужинаем, болтаем. Люба не упускает случая посмеяться. Трое её старших детей носятся по комнате, визжат, иногда плачут, но Любу это нисколько не раздражает. И Бенею тоже. Малышка Марина сидит у него на руках и что-то жуёт, остальные то и дело подбегают к папе, обнимают его, он сует им в рот что-нибудь вкусненькое, гладит по головке и приговаривает:

– Джони дэдэш... – И глаза у него становятся удивительно добрыми.

Нет, он вовсе не вредный, – решаю я.

За столом, конечно, начинаются поиски общих знакомых и родственников. «Не найдете!» – думаю я. И ошибаюсь. Выясняется, что Акбашевы знают нашего Робику. И жили они в Ташкенте совсем недалеко от деда Ёсхаима...

Нет, не зря, не зря свела нас судьба в этой квартире! Теперь, вспоминая о ней, я подозреваю, что квартира принадлежала насмешливой, но доброй волшебнице. Не странно ли, что как только мы уехали, вместо нас к Акбашевым (они дольше нас оставались в Вене) вселили наших дальних родственников? Случайность? Возможно... Но вот и еще одна, похлеще: через много лет, в Америке, женившись на моей дорогой Свете, я узнал, что Бенею Акбашев – её дядя...

Однако, в эту ночь квартирная волшебница решила еще разок над нами посмеяться.

Женщины и малышки улеглись в одной спальне, мужчины – в другой, старших ребятшек уложили в гостиной. Все мы очень устали и заснули сразу, по крайней мере я. Разбудил меня ужасный грохот и яростный вопль.

– А-а-а! Это кто... Это ты специально-о-о?

Сонный, да еще в темноте, я не мог понять, что происходит. Но вот вспыхнул свет – отец включил его, – и я увидел потрясающую картину. Бенею Акбашев лежал среди обломков большой деревянной кровати – он её выбрал, как самый крупный из нас. Переломилась кровать посередине и, можно сказать, сложила Бенею пополам. С одной стороны торчала, все еще покоясь на подушке, голова с вытаращенными глазами и короткими усиками. С другой вздымались

вверх ноги в просторных, до колен, «семейных» трусах... Бенья барахтался, пытаясь подняться, отец топтался рядом, восклицая: «Успокойся, успокойся... Ты не ушибся? Давай руку...». А меня распирали смех. Смешно было, что Бенья вообразил, будто я виноват в катастрофе с кроватью... Подпилил я её, что ли? Еще смешнее выглядел сам Бенья – ноги его волосатые, толстый животик, выпирающий между ногами и грудью... А глаза... А усики... А вздыбленные вверх руки... Может быть, из-за них я и вспомнил – и это было самое смешное – далекую ночь под урючиной, когда Юрка закидал Чубчика переспевшими плодами... Вот точно так же, вздев руки и вытаращив глаза, Робик, ругаясь, бегал по двору...

– Дядя Бенья, я тут ни при чем, честное слово... Ну, что вы, дядя Бенья! – повторял и повторял я, изо всех сил стараясь не смеяться. Дядя Бенья поверил, наконец, и мы все трое принялись рассказывать женщинам, прибежавшим на шум, об ужасном происшествии с кроватью. Оно нас как-то даже сблизило.

* * *

Три дня, пока длился праздник, мы были совершенно свободны и разгуливали по Вене, тихой и малолюдной в праздничные дни. Много в городе казалось мне странным. Порой это были мелочи, люди повзрослее, возможно, не обращали на них внимания. Я заметил, скажем, что стройка напротив нашего здешнего жилища совсем не похожа на ту, что в Чирчике была любимым местом наших детских игр. Та была огорожена высоким, прочным забором из досок. Эта – невысокой и легкой сеточкой. Залезай и уноси что хочешь! Еще одна странность: здесь почему-то не видно было ни мусора, ни битого и разбросанного кирпича, ни котлов, вокруг которых разлита смола, ни просыпанного цемента. Может, думал я, в Вене на праздники даже стройкам полагается выглядеть нарядными? Но на четвертый день, когда стройка ожила, она оставалась всё такой же чистой. И почти такой же тихой: рабочие не перекрикивались, не слышно было ругани. Тихо двигался кран со стрелой, негромко шипела сварка... Нет, подумал я, на такой стройке мальчишкам неинтересно!

Залюбовался я мотоциклом «Сузуки», он был припаркован у обочины недалеко от нашего дома. Большой, с выпуклым бензобаком, отполированный до блеска... Ну до того хорош, я глаз не мог отвести! И вдруг вижу: в замке зажигания возле руля торчит ключ. «Забыл хозяин... Эх, растяпа! Ведь уведут», – огорчился я. Но через два дня увидел «Сузуки» на том же месте, и ключ опять торчал в замке!

На уличных столбах висели прозрачные мешочки вроде больших конвертов. Прохожие останавливались, что-то из мешочков вынимали... Газеты! А где же продавцы? Нет продавцов. Неужели газеты здесь бесплатные? Оказывается, на каждом столбе рядом с конвертом висит баночка, открытая, без замка, и в нее кидают монетки... То есть хочешь – плати, не хочешь – не плати. А можно засунуть руку и... Мы всей семьей дивились этому чуду, впрочем, как и многим другим. «А у нас бы...» – восклицала мама.

Да, мы все еще говорили – и долго еще будем говорить «а у нас...». Иногда спохватывались: почему же «у нас»? Ведь теперь уже – «у них». Но перемена места жительства не равнозначна перемене родины. Разве можно её зачеркнуть? Постепенно привыкаешь к разлуке. Тяжело или легко – это уж как кому дано.

* * *

На четвертый день ранним утром мы пришли в представительство Сохнута на собеседование. Ждем вызова в коридоре. Народу довольно много, беседы почему-то длятся ужасно долго, мы ждем уже почти час, а из комнат, куда приглашают, люди еще ни разу не выходили.

Отец нетерпеливо ходит взад-вперед по коридору, руки закинута за спину, пальцы перебирают свернутый листок бумаги. Наконец, раскрывается дверь...

– Ну, как там? Что спрашивают? – бросается отец к выходящим.

– Давят сильно... «В Израиль, в Израиль...» – шёпотом отвечает мужчина с расстроенным лицом. – Мы говорим – «в Штаты», а они...

Отец, совсем уже мрачный, продолжает свою прогулку по коридору.

Но вот громкий голос приглашает: «Семья Юабов!» Немолодая женщина в длинном платье произносит нашу фамилию и неправильно, и с ужасным акцентом. Мне это почему-то неприятно. К тому же выражение лица этой женщины, ее улыбка – все кажется мне фальшивым.

– Садитесь, пожалуйста. Это мистер... – Женщина представляет нам бородатого мужчину в кипе. У него в руках наша анкета. Просматривая её, он сообщает, что цель организации Сохнут – благополучная доставка репатриантов в Израиль. И выжидательно смотрит на нас...

В анкете черным по белому написано, что мы собираемся ехать в США. Но представитель Сохнута словно об этом не знает.

– Куда путь держите? – спрашивает он...

– В Америку, – стараясь говорить спокойно, но постукивая пальцами по колену, отвечает отец.

– Так... Но ведь вы – репатрианты... Знаете, что это значит? Нет? Ре-па-три-анты – это люди, которые жили за пределами своей страны и теперь возвращаются на родину. На свою родину. Значит, путь ваш – в Из-ра-иль!

Это слово человек в кипе произносит по слогам, и оно тяжело отдается у меня в висках. Оно до предела усиливает напряжение, которое мы ощущаем, сидя в этой небольшой комнате. Мы молчим. Неужели нас могут принудить? Что будет дальше?

Какими же неприятными, даже враждебными, казались мне тогда эти двое из Сохнута! А ведь они только выполняли свой долг. Старательно, честно выполняли. И было им, наверное, нисколько не легче, чем нам. И казались мы им, должно быть, обманщиками, хитрецами.

Их маленькая страна делала все возможное, чтобы вызволить советских евреев. Тратились огромные деньги. Людям посылали вызовы, посылки, их содержали в Вене. Щедро помогали приехавшим в Израиль... Да к чему перечислять, кто этого не знает! А результат?

Я не знаю, какой процент из 51 000 тысячи людей, покинувших Советский Союз в 1979 году – рекордном по числу эмигрантов «третьей волны» – оказался все-таки в Израиле. Но думаю, что значительный перевес был в пользу Америки. Она смогла не только договориться с Брежневым, чтобы евреев выпускали в Израиль «для воссоединения семей». Она и свои двери широко открыла для тех, кто предпочел американский вариант... И на это тоже расходовались колоссальные средства. Но люди из Сохнута, при всем уважении к Америке, действовали в интересах еврейского государства. И могло ли быть иначе?

– Амнун Юабов, – нарушил молчание бородатый, – вы учитель физкультуры, да? – Тут он заглянул в анкету. – И тренер по баскетболу? О-о, даже двух олимпийцев воспитали! Господин Юабов, в Израиле люди с вашим опытом ценятся. Освойте язык и будете продолжать свою работу! В Из-ра-иле, – опять раздельно произнес он. – А что вам делать в Америке? Там вы работы не получите!

– Куда-нибудь устроюсь... – начал было отец, но бородатый прервал его:

– Вам пятьдесят один! Даже грузчиком не возьмут... Вы что, английским владеете в совершенстве? – Теперь он уже говорил с раздражением.

– Стивен! – Дама успокоительно подняла руку. Отдохни, мол, теперь я за них возьмусь... – Господин Юабов, Израиль вам дает всё. Иврит будете изучать шесть месяцев... – при этом она показала шесть пальцев. – Жить будете в кибуц, бесплатное жилье, бесплатное

питание... После обучения – трудоустройство, скорее всего по специальности... Подумайте, господин Юабов, вы ведь глава семьи!

Не добившись от отца ни слова, энергичные сохнутовцы начали наступление на нас с Эммкой. Мне было сказано, что в Израиле нехватка педагогов, а я – бывший студент педагогического института. Значит, меня ждет прекрасное будущее! Эмма узнала, что и у неё, будущей медсестры, в Израиле блестящие возможности. Израиль – одна из ведущих по медицинскому обслуживанию стран мира.

Мы с сестрой коротко отвечали, что как родители, так и мы.

Очередь дошла до мамы и ей, пожалуй, досталось самое трудное.

– Госпожа Юабова, у вас в Израиле сестра? – спросила дама. Мама кивнула. О Розе было написано в анкете – Как же так, вы выехали для воссоединения с сестрой, а теперь вдруг хотите ехать в Америку?

Этот вопрос мы предвидели и как на него отвечать, не раз обсуждалось дома. Но я заметил, что мама напряглась, сжала руки.

– Сестра сама отсоветовала нам приезжать. В Израиле все дорожает... И к тому же война... Я из Союза решила уехать, чтобы сын в армии не служил! – Мама решительно тряхнула головой и закончила: – Нет, мы поедem в Америку, у меня брат в Нью-Йорке.

Наступило молчание: Сохнутовцы исчерпали свои возможности, мы не поддались панике, не отступили.

– Ну, что ж, – сказал мужчина в кипе. – Встретимся еще раз через три дня. За это время постарайтесь обдумать наши советы, все взвесить... – И, достав из конверта несколько купюр, протянул отцу: – На расходы.

Сейчас, много лет спустя, я вспоминаю эту сцену с чувством неловкости и даже печали. Мы уехали из страны, где нельзя было жить без лицемерия и лжи. Надеялись, что теперь все будет иначе. Почему же и здесь все снова началось со лжи, почему мы не могли сказать честно, что сразу решили ехать в Америку, а израильским вызовом просто воспользовались? Ведь люди, принимавшие нас, прекрасно понимали это. И тоже разыгрывали перед нами какую-то роль.

* * *

Смутно помню обратную дорогу. Ярче всего – удивление и детскую радость мамы, впервые попавшей в западный супермаркет (на праздники все они были закрыты). Особенно поразило её разнообразие сортов хлеба, она перебирала пачку за пачкой, не переставая восхищаться: «Ореховый... С зерном... А этот с медом, что ли?» Надписей на немецком она прочитать не могла и поэтому пакеты, более плотные, чем хлебные, просто нюхала, что, как я заметил, очень смешило покупателей-австрийцев. Впрочем, жители Вены могли бы уже и привыкнуть к «диким» советским эмигрантам...

Кафе, ресторанчики, пивные бары. Молодежь с пивом за столиками, прямо на улице... Смеются, болтают, но негромко, не то, что мы со своей компанией в парке Кирова... И все такое яркое, и так нарядны, так соблазнительны витрины магазинов, и машины, машины... Мы еще не дошли до дома, а у меня снова, как в автобусе, разболелись глаза и голова. Слишком много было впечатлений.

* * *

Не передать мамину радость, когда мы повстречались, наконец, кажется, это было в Сохнуте, с Мушеевыми, которые приехали в Вену через несколько дней после нас. Обидно было,

что не получилось ехать вместе, но хорошо хоть так, друг за другом! Несколько прогулок по городу мы совершили большой компанией...

Как ни странно, в Вене у нас оказались родственники, какие-то Галибовы, родня бабушки Лизы. Бабушка и попросила повидаться с ними. Мы созвонились и вечером, придя в гости, попали за стол до того изобильный и азиатский, будто мы были в Ташкенте. Вот за этим столом, таким неожиданным в Вене, мы познакомились, если можно так выразиться, с одним из завихрений многоструйного эмигрантского потока, нам приоткрылась еще одна сторона событий.

Галибовы репатриировались в Израиль лет шесть назад, но прожили там совсем недолго. Тяжело было материально – низкие заработки, инфляция. Еще тяжелее оказалось жить в постоянно воюющей стране. И мужу, и сыновьям Галибовых предстояло служить в армии, значит, в любой момент они могли быть ранены, убиты... Евреи и в мирном-то Узбекистане изо всех сил старались оградить своих сыновей от военной службы, а тут... Да, конечно, страна праотцов, древняя родина, «земля обетованная», но жертвовать ради нее сыновьями... К такому тяжелому душевному испытанию бухарские евреи оказались совершенно не подготовлены.

И Галибовы сбежали. С огромным трудом им удалось вернуться в Вену. Для этого пришлось выплатить Израилю те деньги, что были потрачены на их приезд, обустройство. Распродали все, что было, но выкрутились, выплатили. А план был такой: вернувшись в Вену, добиться разрешения на возвращение домой, в Узбекистан... Расставание с родиной для этой семьи оказалось непосильным испытанием. Но увы, в те годы эмигрантов в Советский Союз обратно не впускали. Так и застряли Галибовы в Вене. Жизнь и здесь была нелегка. Гражданство, да и то не всем, в Австрии дают только через десять лет. Не помню, пытались ли они пробиваться куда-либо – в Америку, в Канаду, в Австралию, – может, и пытались, но на это требовались годы.

– Одно хорошо, сыновей в армию не забирают, – вздохнула Света, мать семейства. Старший её сын, Игорь, явился домой вместе с отцом позже нас: оба работали грузчиками на складе. Младший трудился на каком-то заводе. Чтобы прокормиться, снимать жилье, приходилось работать с утра до поздней ночи...

По рассказам Галибовых в Вену, как и они, вернулось всего несколько десятков семей бухарских евреев. Жили небогато, устраивались, кто как мог. Овощные лавочки открывали, обувь чинили.

– Видимся редко, слишком все заняты...

Чувствовалось, что Галибовы страдают от этой замкнутости, от одиночества. Они пожаловались, что в Вене не любят иностранцев, особенно евреев. Открыто это не проявляется, все очень вежливо. Но проскальзывает, проскальзывает то одно, то другое. Все равно ведь такое скрыть невозможно...

Я ничего не знаю о дальнейшей судьбе Галибовых. Больше нам увидеться не пришлось, потому что через несколько дней, получив, наконец, согласие представителей Сохнута на американский вариант, мы выехали из Вены в Италию.

Глава 18. Робинзон Крузо

«30 сентября 1659 года. Я, несчастный Робинзон Крузо, потерпев кораблекрушение во время страшной бури, был выброшен на берег этого ужасного, злополучного острова, который я назвал Островом Отчаяния...»

Через 320 лет и 5 дней после того, как Робинзон Крузо написал эти строки, я, Валера Юабов, сидел, склонившись над чистой тетрадью, и выводил на титульном листе: «Мой дневник. Начат 5 октября 1979 года...». Тетрадь лежала на большом мраморном столе в одной из комнат нашей новой итальянской квартиры. В распахнутое окно задувал теплый, пахнущий морем ветерок.

Какое отношение имел мой дневник к дневнику знаменитого героя Даниэля Дефо? Вероятно, это надо пояснить.

Мне еще не было одиннадцати, когда в мою жизнь вошел Робинзон Крузо. На титульном листе драгоценной книги (она и сейчас со мной) я вывел фломастером торжественную надпись: «К числу любимейших я эту книгу отношу». И, действительно, я любил и перечитывал эту книгу несчетное число раз долгие годы. Думаю, что именно она сделала меня мечтателем и даже романтиком. Когда, уже став студентом, я каждое утро по дороге в институт погружался в свои мечты, самой любимой из них была робинзонада. Я выходил из дома деда Ёсхаима и, как только оказывался в узком проходе между двумя маленькими домиками, подпертыми контрфорсами, словно по мановению волшебной палочки превращался в Робинзона. То барахтался в волнах, потерпев бедствие, то растил озимые, то строил загон для коз, то валялся в приступе лихорадки. Воображать эпизоды без повторений мне удавалось примерно месяц. Потом я начинал с начала или с любого места.

Много раз я принимал решение вести дневник по примеру Робинзона. Но как-то все не получалось. Одним из «серьезных» препятствий было то, что не находилось подходящей тетради. Тетрадь, считал я, непременно должна быть одна на всю жизнь. Но где же разыщешь такую?

И вот теперь, когда я очутился в Италии, мне показалось, что судьба наконец-то сблизила меня с моим любимым Робинзоном. В самом деле, разве не случилась в моей жизни перемена, равная кораблекрушению? Разве не вышвырнуло меня, после долгого барахтанья, на берег? Правда, не на остров, «ужасный и злополучный», а в цветущую Италию, но к морю же, к морю! Вот как свежо, как остро пахнет морем дующий в окно ветер! И сколько ждет меня здесь приключений! А впереди – Америка...

Нет, теперь уж непременно надо было завести дневник!

На тетрадь небывалой толщины пришлось махнуть рукой, сейчас передо мной лежала на столе обыкновенная общая тетрадь в зеленом переплете. Первые строки о том, когда начат дневник, были красными чернилами написаны на титульном листе. Рядом – инициалы любимого героя. И тут же я изобразил как мог его самого в одежде из козьего меха, с ружьем в руке. Под рисунком вывел на латыни: «In nomine Patris, et Filie, et Spiritus Sancti!!! Amen!!!» Так сказать, в качестве торжественного напутствия себе самому... Да, чуть не забыл: чтобы не было сомнений, чей это дневник, рядом с инициалами Робинзона я оттиснул отпечаток своего большого пальца.

Так наивно, совсем еще по-детски, признавшись в своей любви к романтике, я призадумался: что же писать дальше? Наверное, лучше начать с приезда в Италию...

* * *

Первую неделю мы прожили на окраине Рима в многоэтажной гостинице «Илаури». Мне очень здесь понравилось. Тихо, спокойно, ни потоков машин, ни людской суеты. Рядом с нами всего несколько больших жилых домов, где на балконах, трепыхаясь по ветру, постоянно сушилось белье. А вокруг небольшие рощицы, поляны, покрытые густой, пахучей травой. Мне вспоминались любимые чирчикские холмы, такие же зеленые и душистые весной.

Неделю продолжались официальные встречи и заполнение бесчисленных бумаг. Теперь вроде бы оставалось только ждать разрешения на въезд в Америку. Сколько продлится ожидание да и получим ли мы разрешение, никто не знал... Словом, на какое-то время необходимо было подыскать себе жилье в Риме или где-нибудь неподалеку. В Риме квартиры были дороги. Иммигранты из европейской части Союза чаще всего селились в Остии, а люди из азиатских республик – в приморском городке Ладисполи. Мы решили держаться поближе к своим.

Снимать квартиру в Ладисполи мы с отцом отправились на автобусе. Ехать-то из Рима было всего около часа. Возле самого пляжа на небольшой площадке с фонтанчиком толпился народ. Здесь образовалось что-то вроде квартирной биржи, бюро информации, называйте как хотите. И возникло это бюро с появлением наших дорогих соотечественников. Со всех сторон звучала русская речь. До меня доносились обрывки фраз: «Уже два месяца»... «Транспортные получили?»... «С балконом дороже»... А с пляжа, со стоящего у причала небольшого белого кораблика долетала музыка. Отсюда, с пяточка, нам виден был и кораблик, на который по трапу входили люди, и пляж с загорелыми купальщиками. Да и вокруг нас, в толпе, немало было людей в плавках и купальниках – подошли небось пообщаться, узнать какие-нибудь новости.

– Ищите квартиру? – Вопрос задал молодой человек в пиджаке и при галстуке, с небольшой папкой в руках. – Есть шикарная, двухкомнатная. Терраса, вид на море...

Любезное предложение нас обрадовало, но тут же выяснилось, что сделал его не хозяин квартиры и не доброжелательный советчик, а посредник: мы ему – комиссионные, он нам – адрес... Деловой молодой человек, ловкий: уже нашел себе здесь бизнес! На этот раз ему не повезло, отправился искать других клиентов. А к нам, услышав разговор, подошел пожилой мужчина.

– Мы тоже ищем квартиру. Уже присмотрели хорошую, но дороговато. Может, снимем вместе? Нас всего двое...

Такой «совместный вариант» стал среди русских очень распространенным: из-за наплыва эмигрантов квартиры стремительно дорожали. Мы отправились с новыми знакомыми – приятнейшей и очень дружной парой из Киева (они даже ходили, взявшись за руки) смотреть квартиру. Современного вида панельный дом № 10 по улице Дуца Абруци, очень похожий на другие дома по этой улице, внутри оказался чем-то вроде дворца. По крайней мере нам так показалось, когда мы зашли в вестибюль, где и пол, и стены, и лестница, все было из красивого светлого камня, очевидно, из мрамора... Позже мы узнали, что мрамор в домах Италии используется так же часто, как у нас дерево, линолеум, керамическая плитка. Но первое впечатление было незабываемым. Да я и потом наслаждался этим царственным камнем. Мне нравилось водить по нему рукой, чувствовать, какой он гладкий и монолитный, нравилось ощущать его прохладу, слушать музыку – цоканье дамских каблучков по камню, нравились причудливые узоры, этот таинственный язык, которым разговаривают с нами благородные камни... Почему-то в Ташкенте, где в облицовке многих зданий тоже использовался мрамор, я с такой силой не чувствовал его красоту. Вероятно, в Италии все особенное...

– Поднимемся пешком, – сказал наш Иосиф Наумович. – Лифт здесь платный.

Мы удивились: до этого в Риме нам встречались платные туалеты, но лифты...

На втором этаже разыскали сеньору Софию, приветливую, симпатичную даму средних лет. Она, впрочем, оказалась вполне стойкой, когда отец попробовал чуть-чуть сбить цену. Но квартира – она была на четвертом этаже – нам понравилась. И она была снята пополам с новыми знакомыми. Квартира тоже оказалась каким-то изумрудным царством. Мраморные полы были светло-зелеными. Стол в гостиной – темно-зеленым. Почти весь день играли на нем солнечные лучи, и будто из глубины камня выплывали его узоры, завиток за завитком, ниточка за ниточкой.

Мама и Эммка квартиру одобрили.

– Только высоко очень, – огорчалась мама. – Как же папеш по лестнице со своей астмой? Придется платить за лифт...

К нашей радости, отец заявил, что с лестницей справляется. Впрочем, мы уже заметили, что со времени отъезда астма перестала мучить его. Он и дышал, и чувствовал себя лучше, легче двигался.

Вот так мы и стали жителями итальянского курортного городка Ладисполи. Здесь было красиво, в октябре еще вовсю продолжался купальный сезон. Может быть, я потому и привык к новой жизни удивительно быстро, хотя месяц назад и представить бы себе не мог ничего подобного. К тому же мы не ощущали здесь одиночества. Мушеевы приехали в Италию дня через три после нас, и тоже поселились в Ладисполи. В городке нашлось немало земляков. Да и среди итальянцев, доброжелательных, темпераментных, жизнерадостных, мы чувствовали себя совсем неплохо. Очень мне нравилась итальянская речь, ее тональность, певучее звучание фразы, сильные, протяжные ударения. Красивый язык, мягкий и выразительный. В нем, мне кажется, сохранилась какая-то особая, народная музыкальность.

Я и сейчас с большим удовольствием слушаю, как разговаривают итальянцы, в Нью-Йорке для этого достаточно побывать в Литтл Итали...

Впрочем, поначалу итальянский темперамент меня то смешил, то пугал. Услышав через открытую дверь громкие голоса, я выбегал на террасу и с тревогой глядел вниз: «Что там за скандал? Или уже драка?» Но нет, я каждый раз ошибался. Никакого скандала: два мужика, вполне приличного вида, стоят и беседуют... Ну, может, и спорят о чем-то. Но до чего же громко! И как энергично жестикулируют! Собрав вместе кончики пальцев правой руки, машут кистью вверх-вниз, вверх-вниз перед самым лицом собеседника. Кажется, вот-вот ударят друг друга по носу.

Чего эмигранты никак не могли понять, так это итальянского образа жизни, дня, разделенного на две части знаменитой сиестой. Вообще-то «сиеста» – это празднество, карнавал, но у итальянцев так называется дневной отдых, перерыв в работе. В Италии с начала лета до поздней осени рабочий день длится с утра примерно до часу, потом начинается сиеста и продолжается она до самого вечера, часов до шести, пока не спадет дневная жара. Только после этого сколько-то еще длится работа... «Как это можно? Разве так делают бизнес?» – пожимали плечами эмигранты. Итальянцы считали иначе. Они пережидали жару с комфортом, в прохладе – дома, в кафе или на пляже...

* * *

...Вот так – вспоминая, перекидываясь мыслями с одного на другое, сидел я перед раскрытой тетрадью. А написать ничего не мог. События и впечатления перемешивались, я не находил слов, чтобы их выразить, мысли разбегались, не складывались фразы. Ну и ладно, решил я, начну-ка с сегодняшнего дня...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.